

Вадим ЯРМОЛИНЕЦ

НА ГРАНИ ЗАБВЕНИЯ

Реконструкция семейной биографии писателя А.М. Федорова

Текст и жизнь

Имя хорошо известного в начале XX века писателя Александра Митрофановича Федорова было бы, скорее всего, забыто, если бы только Валентин Катаев не использовал историю его семьи для одного из своих лучших текстов – повести «Уже написан Вертер». Это был не первый случай, когда Катаев вспомнил Федорова. Он появился под своим именем в более ранней повести «Трава забвения» и под именем писателя Воронова в рассказе 1917 года. Но то была фотография писателя в интерьере, одна из тех, на которые взглянешь и забудешь. Мало ли их было – групповых и индивидуальных снимков мужчин в непереносимых костюмах-тройках, в пенсне, с ухоженными бородками и бородами. «Вертер» обладал динамичным и драматичным сюжетом, как хороший фильм, – с любовью, предательством, побегом, смертью, и все это на фоне исторического катаклизма, гибели 150-миллионной Помпеи.

Даже удивительно, что история Федоровых прошла мимо кинематографистов, уделивших так много внимания другим одесским персонажам той эпохи. А может быть, и не удивительно: сама Одесса, а вместе с ней и весь русский мир во всем своем этническом и культурном многообразии, ассоциирует этот город исключительно с веселыми налетчиками и аферистами, чье остроумие напрочь заслоняет от аудитории природу их ремесла. Борьба с одесскими стереотипами бессмысленно, как и со всеми остальными. Но в этом подходе причина потери значительного пласта одесской истории и литературы.

Повесть, как установил одесский краевед Сергей Лущик, во многом документальна. Его «Реальный комментарий к повести В. Катаева “Уже написан Вертер”» читается с интересом не меньшим, чем сама повесть. Тут не обойтись без уточнения: в реальные события из жизни семьи Федоровых Катаев идеально вписал уже один раз использованный им сюжет – предательство женой мужа-белогвардейца.

Место действия «Вертера» – Одесса. Время – Гражданская война. Молодая работница совпартшколы доносит на мужа Диму, в недавнем прошлом юнкера. В то время, как того ждет расстрел, его мать Лариса Германовна бросается к другу семьи, лично знавшему начальника городской ЧК. Диму освобождают, но Лариса Германовна не успевает узнать о спасении сына. Она читает его имя в списке расстрелянных и возвращается домой, чтобы покончить с собой. Четыре слова в оставленной ею записке – «Будьте вы все прокляты!» – прозвучали в 1980 году со страниц «Нового мира» ошеломляюще. Советская власть казалась незыблемой, герои – неприкасаемыми, жертвы – оправданными.

Между тем спасенный от расстрела Дима бежит в Румынию. Из разбросанных в тексте Катаева фраз возникает пунктирный рисунок его дальнейшей жизни. Мы узнаем, что в годы Второй мировой он возвращается в родной город в форме солдата вражеской армии, а еще через какое-то время умирает в пропавшем дезинфекцией бараке сибирского концлагеря. И снова все совпадает с реальными событиями.

Несмотря на печальный финал, читатель не может не отметить, что беглецу все же удается на добрых два десятка лет – а ведь это огромный срок! – пережить других персонажей повести, включая предавшую его жену. Ее жизнь оканчивается в страшном расстрельном гараже, а его все еще длится, как тревожный сон спящего рассказчика. Двадцать лет – целая эпоха.

И повесть Катаева, и комментарий Лущика касались очень короткого этапа семейной истории Федоровых – драматичных событий 1920-1921 годов. Но ведь была жизнь и до и после. Была успешная литературная карьера Александра Митрофановича – образец, как теперь бы сказали, восходящей социальной мобильности. Сын сапожника, недоучившийся реалист стал известным в предреволюционной России автором. На его счету – дюжина романов, несколько томов короткой прозы, три тома стихов и переводов, три книги путевых очерков, том военных корреспонденций, том пьес, постановки в столичных театрах. Творческая молодежь признавала его заслуги. В той или иной степени Александр Митрофанович был первым наставником Катаева, Ахматовой, Жаботинского, других одесских авторов.

В первые годы эмиграции он преподает, пишет и публикуется, пока, наконец, не исчезает из поля зрения своей старой аудитории, критиков, историков.

Как могло пропасть такое значительное, по крайней мере по объему, наследие?

Из «Комментария» следовало, что внук А.М. Федорова – Вадим Викторович живет в США. Найти его адрес было несложно, и в 2000 году я отправился в городок Амстердам, что на севере штата Нью-Йорк. В этой поездке я видел возможность написать интересную статью для газеты «Новое русское слово», где тогда работал, и, может быть, добавить что-то к исследованию Лущика. Я не мог представить тогда, что начал писать книгу.

Меня встретила вдова Вадима Викторовича – Наталья Георгиевна Федорова, урожденная Чирикова. Она – внучка писателя Евгения Чирикова.

Наталья Георгиевна бережно хранила семейные реликвии и передала мне одну совершенно бесценную – магнитофонную запись воспоминаний Надежды Ковалевской – первой жены сына писателя – Виктора Федорова. Эта запись была сделана, когда Надежде Леонидовне было уже за 80. Она рассказывала о муже, его спасении из ЧК, побеге из Одессы – все то, что отразилось в повести Катаева.

Еще одной переданной мне реликвией была рукопись воспоминаний ее супруга – Вадима Федорова.

Семейная история медленно затягивала меня, становилась очень личной. Во многом это объяснялось тем, что я родился и вырос в городе, с которым были связаны два десятка лет жизни Александра Митрофановича и его семьи. Мое детство прошло на улице Княжеской в доме №21. А.М. Федоров был завсегдатаем холостяцких «четвергов» в доме №27 – особняке художника Евгения Буковецкого. В этом доме стартует сюжет одного из одесских романов Федорова – «Природа».

Не сосчитать сколько раз я бывал в 27-м номере, как мы его называли, – в нем жили приятели моей юности. Один из них – Валерий Смирнов впоследствии стал соавтором¹ книги о доме Буковецкого – «Баранова, 27». Так улица называлась в советскую эпоху.

И было еще одно соседство – отцовский летний участок на Большом Фонтане, с громким названием «дача». Дача располагалась на улице – в один квартал, которая сегодня носит не вполне органичное для этих мест имя Мыколы Гумилева. Отправляясь на пляж, мы спускались по разбитой грунтовой дороге до улицы Пархоменко, которая сегодня называется улицей Художника Федорова. Какого именно? Хочется верить – Виктора Александровича Федорова – сына писателя. Она приводила нас на улицу Амундсена, не очень ловко

¹ С Александром Грабовским.

переименованную в улицу Дача Ковалевского. Улица-дача... Пересекали ее, и по густо заросшей колючим кустарником балке выбирались к морю. Балкой в Одессе называли овраг. Над головой густо тек звон колоколов Успенского монастыря. Того самого, который юный Олеша упомянул в посвященных А.М. Федорову «Майских стихах»:

А со скамьи на солнцепеке
Видны зеленые моря,
И в небе дальний и высокий
Огнистый крест монастыря...

Электрический маяк, в команде которого служил Виктор Федоров, располагался дальше в сторону Люстдорфа, там же был дом писателя, а рядом – дом семьи Ковалевских, давшей название всему району. Мне было, наверное, лет 10–12, когда отец повел меня смотреть на уничтоженные оползнем дома, среди которых был и дом Федоровых. Мы видели присыпанные темно-рыжей глиной остатки стен из ракушечника, смятые листы ржавой кровельной жести, следы проводки и темные пятна на обоях, где висели когда-то картины или стояли шкафы, пыльные обломки мебели. Далеко внизу волны методично набегали на берег, подъедая его историю.

Описанная Катаевым прогулка писателя Воронова с почты на свою дачу – вдоль шоссе, по обеим сторонам которого располагались благоухающие сады, для меня – фотографически точная реальность моего детства.

В 2012-м я встретился в Женеве с младшим сыном Виктора Федорова – Виктором-Анатолем. Он родился в Бухаресте, когда его отец находился в сибирском концлагере. В их судьбах оказалось общее: оба – театральные художники, оба бежали с родины на запад. Отец – из Одессы в Румынию, сын – из Румынии в Швейцарию. Виктор-Анатоль хранит рисунки и картины отца, личные документы и открытки из концлагеря с душераздирающими призывами о помощи, обращенными к бессильной помочь ему любимой женщине. Именно эти открытки вызвали у меня ощущение личной ответственности за то, чтобы приватная история семьи Федоровых прозвучала в общей истории страны, века.

За встречей в Женеве последовала поездка в город Лидс в Англии, в университете которого хранится архив И.А. Бунина, и в нем – письма А.М. Федорова. Из них мы узнаем о его жизни в Болгарии, о сыне, об оставленной в Одессе жене, об отчаянном одиночестве, нищете, прижизненном забвении.

Несколько предпринятых мной попыток написать о Федоровых большую повесть или роман зашли в тупик. Первой причиной было то, что Валентин Катаев, не контактировавший после 1919 года ни с А.М. Федоровым, ни с его сыном, знал об их судьбе все. В повести упоминается и служба Виктора в годы Второй мировой в румынской армии, и появление в оккупированной Одессе, и работа по специальности в сибирском концлагере, и двое оставленных им детей от первого брака. Повторяться казалось бессмысленным.

Второй причиной было то, что письма Федоровых хранили в себе такой мощный эмоциональный заряд, что любая переработка свела бы его на нет.

В поиске формата мне помог Леонид Юзефович, порекомендовавший «просто записать эту историю», не думая о жанре. Действительно, его «Зимняя дорога» стала для меня своего рода отправной точкой на финальном этапе этой работы.

Но окончательное понимание того, что я готов рассказать историю семьи Федоровых, пришло лишь после погружения в литературное наследие Александра Митрофановича. Оно забыто, но оно не исчезло. Книги А.М. Федорова хранятся в библиотеках многих американских университетов, значительная часть текстов: поэзия, проза, очерки, драматургия оцифрована и доступна пользователям российской Национальной электронной библиотеки.

Завершив эту работу, я хочу поблагодарить всех, кто внес в нее свою лепту. В первую очередь Наталью Георгиевну Федорову и Виктора-Анатоля Федорова, доверивших мне бесценные семейные документы и поделившихся своими воспоминаниями. Также хранителя Русского архива в библиотеке Лидского университета Ричарда Дэвиса, оказавшего неоценимую помощь в поиске писем корреспондентов Федорова и их расшифровке. Знатоков одесской истории Олега Губаря и Евгения Голубовского, которые помогли мне восстановить биографии забытых горожан из ближайшего окружения Федоровых. Писателей Леонида Юзефовича и Сергея Шикеру, чьи советы помогли мне начать и довести эту работу до конца. Специалиста по Федорову из университета Велико-Тырново в Болгарии Маргариту Каназирску, которая нашла и довела до публикации заключительные главы его последнего романа «Плеяды», а также исследовательницу федоровского наследия из Саратовского университета Юлию Сырову, чья научная работа и публикации в прессе помогли мне больше узнать о начале его творческого пути и найти многие его тексты в периодике конца XIX начала XX века. Сотрудников Одесского литературного музея Алену Яворскую, Анну Божко и Анну Мисюк, писателя Валерия Смирнова, чьи работы не давали исчезнуть имени Федорова из городской истории. И еще, посмертно, – Сергея Зеноновича Лущика, чье исследование на долгие годы дало мне увлекательнейшее занятие, стремление продолжить начатый им труд.

Саратов, Уфа, Москва

Александр Митрофанович Фёдоров родился в 1868 году в Саратове. Отец его появился на свет крепостным, до 18 лет был пастухом, а получив свободу, выучился на сапожника. Востребованное ремесло не принесло достатка. Семья не выбиралась из нищеты, поскольку отец пил.

«Кроткий человек и усердный работник, он, когда напивался, не помнил себя и на попреки жены отвечал тяжелыми побоями. На другой день он был сам не свой, молил о прощении, давал зарок»².

Воспоминания об избиениях матери – первый драматичный опыт ребенка – не оставляют его всю жизнь. В романе «Заря жизни» автор рассказывает, как его маленький герой отправляется с другими детьми колядовать и собирает деньги на коньки. Три праздничных дня Рождества, когда закрыты городские лавки, отделяют его от исполнения мечты. Но этой мечте не суждено сбыться, отец пропивает деньги. Попытка матери усовестить мужа оканчивается очередным ее избиением. Роман, конечно, не биографический документ, но некоторые детали, кажется, не придумаешь.

«...вдруг я проснулся. Сначала мне показалось, что это все еще шумит, стучит и стонет ветер. Но открывши глаза, я вскрикнул от страха и муки: отец бил мать, и, чтобы не разбудить нас, она сдерживала вопли и стоны. Но когда упала от его удара, и голова ее стукнулась об пол, не помня себя, я с криком спрыгнул с кровати, вцепился отцу в бороду обеими руками и повис, трясясь и судорожно извиваясь и визжа от злобы»³.

Наверное, не будет большой ошибкой судить о степени биографичности каких-то эпизодов и образов в прозе и стихах Федорова именно по их повторяемости в текстах, иногда отделенных друг от друга несколькими десятилетиями.

Однажды пьяный отец запирает спрятавшуюся от него жену в погребе, где та проводит ночь. И до этого слабое ее здоровье было этой ледяной ночевкой подорвано окончательно, и вскоре бедолага умерла.

² А.М. Федоров. С матерью // Рассказы. СПб.: Изд-во С.В. Бунина, 1908. С. 1.

³ А.М. Федоров. Заря жизни. Роман. Московское книгоиздательство, 1916. С. 20.

Похоронив первую жену, отец женился вторично. Второй супруге доставалось тоже, но недолго – через полгода новой семейной жизни сапожник ушел в очередной запой, из которого уже не вернулся.

Из самых ярких и немногих теплых воспоминаний той поры: волжские просторы, бесконечные плоты и похожие на разбойников косматые плотовщики, угощающие мальца ухой и раками.

Еще одно воспоминание – купленная ему рыжая шинель до пят – на вырост, которая вызывает насмешки школьных товарищей. Ужас и любопытство, которые влекут его к щели в заборе у желтого дома на берегу Волги, где доживает свои дни его умалишенный дед.

Надрывный мелодраmatизм, пожалуй, главное художественное свойство романов Федорова. Ни один не обходится без любовных драм, несчастий, смерти. Это – неспроста. Все это отголоски драматичного детства, тяжелых потрясений юного сознания, вызванных избиениями матери, ее ранней смерти по вине мужа, сумасшествия деда, дикой нищеты.

Оставшись сиротой в 11 лет, Саша Федоров попал на воспитание в состоятельный дом. Через три года его отправили в реальное училище. Здесь он впервые и ощутил тягу к стихосложению. Об этом он рассказал в автобиографии, написанной специально для книги известного в начале XX века историка литературы Федора Федоровича Фидлера – «Первые литературные шаги: автобиографии современных русских писателей». Книга вышла в 1911 году в Москве и включила автобиографии 54 авторов. Сегодня этот сборник выглядит своеобразным литературным синодиком – в оглавлении вряд ли наберется дюжина узнаваемых имен.

За сочинительство юноша взялся в 14 лет – влюбившись. Первые стихи, по его словам, были *жестоким* подражанием Некрасову.

«Первое стихотворение, которое мои товарищи уговорили меня отдать в печать, называлось «Смерть рабочего», причем рабочий умирал в Петербурге, которого я никогда не видал, и смерть его сопровождалась ужасным воем Невы.

<...>

Никогда после этого я не испытывал такой безумной гордости и восторга, как в тот момент, когда мое стихотворение появилось в «Саратовском дневнике». Достаточно сказать, что ночь накануне я не спал, а затем целый день ходил по городу, опьянев от сатанинской гордости и тщеславия»⁴.

Дата исторической публикации в приложении к газете «Саратовский дневник» – 15 июня 1885 года, точное название стихотворения – «Смерть фабричного». Сочинительство стихов, которое не только питало тщеславие молодого автора, но и занимало все время и мысли, стало причиной конфликта с директором училища. Дело кончилось тем, что его отстранили от занятий за несколько месяцев до получения диплома. Юношу это не остановило – к этому времени он уже самостоятельно зарабатывал себе на хлеб.

«Платили в газете от пяти до десяти копеек за строчку, но эти деньги казались мне священными, и, несмотря на то, что я с четырнадцати лет был человеком самостоятельным и жил на десять-двенадцать рублей, которые зарабатывал уроками, литературный гонорар я тратил на покупку книг или на театр. Позднее в театр я получил доступ даром, так как писал для актеров куплеты на злобу дня.

⁴ А.М. Федоров. Автобиография // Ф.Ф. Фидлер. Первые литературные шаги: автобиографии современных русских писателей. М.: тип. т-ва И.Д. Сытина, 1911. С. 103. (Далее – Автобиография).

Лет шестнадцати я послал свои стихотворения в “Литературное богатство” и получил ответ от Л. Оболенского, в то время издававшего этот журнал, чрезвычайно трогательное письмо, которое основательно поддало мне поэтического жара»⁵.

В числе первых учителей юного дарования был известный поэт Аполлон Майков. Он читал стихи юного поэта, знал о его трудном детстве и ходатайствовал о том, чтобы тому позволили сдать выпускные экзамены и получить диплом. Из этого ничего не вышло, и вот как Федоров объяснил это:

«Я в это время лежал раненый пулей в больнице. Экзамены кончились, когда я выздоровел...»⁶.

Откуда эта пуля залетела в его биографию, автор не объяснил. Жалко. Это бы добавило пару-другую ярких мазков к его портрету.

Подлечившись, Федоров уехал в Москву с четким намерением утвердиться на литературной ниве.

Герой еще одной автобиографической повести «Что его ждет?» перед отъездом в столицу (правда, этот отправляется в Санкт-Петербург) объясняет своей возлюбленной:

«...пройдет два-три года, и ты увидишь меня не безымянным ничем, а русским писателем, имя которого тебе не стыдно будет принять ни перед людьми, ни перед собою»⁷.

Такие заверения наверное слышала не одна провинциальная муза, даже не догадываясь, что успех ее избранника был гарантией вечной разлуки с ним.

В Москве Федоров познакомился с популярным автором того времени – Н.Н. Златовратским, корифеем жанра «мужицкой беллетристики». Встреча была действительно важной – Златовратский открыл для Федорова двери редакции столичного журнала «Русская мысль». Общение со старшим по цеху коллегой дало еще один результат – свойства названного выше жанра, представлявшего собой смесь беллетристики, этнографии и публицистики, в дальнейшем проявились в лучших романах Федорова – «Степь сказалась» и «Земля».

Поскольку на первые гонорары прожить было невозможно, Федоров вернулся к частным урокам и начал подрабатывать в театре.

«...я от двадцати до двадцати двух лет просланился по провинции, разыгрывая всевозможные роли, начиная от маленьких и кончая Доном Карлосом. Хотя я играл временами не без успеха, но, кроме отвращения, об этом периоде моей жизни у меня мало что осталось в душе.

Последним пунктом моей плодотворной артистической деятельности был город Уфа. Здесь, благодаря близости к башкирскому народу, я задумал мой первый роман “Степь сказалась”»⁸.

В двух абзацах – масса важной информации. Федоров провел два года в театре – с 1888 по 1890. Из его очерка об Аполлоне Майкове мы узнаем, что женился он рано – в 22 года – на актрисе⁹. При всей легкомысленности профессии, супруги прожили без малого три десятка лет и, если бы не революция, могли прожить дольше.

Покинув театр, молодые поселились в деревне Курменкей, недалеко от станции Давлеканово Уфимской губернии. На этот адрес приходила почта от литературных контактов

⁵ Там же. С. 103.

⁶ Там же. С. 105.

⁷ А.М. Федоров. Что его ждет? Повесть // Живописное обозрение. 1902. № 7. С. 966.

⁸ Автобиография. С. 105-106.

⁹ А.М. Федоров. Аполлон Майков // Пробуждение. Санкт-Петербург, 1917. № 3. В очерке Федоров рассказывает, что встретился с Майковым в 1888 году, а в разговоре с ним говорит, что уже женат.

Федорова. Здесь Федоров с головой погрузился в сочинительство. Глушь позволила ему не только сосредоточиться на литературной работе, но и свести к минимуму расходы.

Уфу выбирает и герой его первого романа – Бессонов, тоже недоучившийся студент, тоже пишущий роман, в то время как его супруга трудится на огороде – на благо семейного бюджета.

Литературные плоды этой самоизоляции появились в 1894 году – полоторасотстраничный том сихов, напечатанный московским издателем И.Г. Советовым, и повесть «Весна» в санкт-петербургском ежемесячном журнале «Труд».

Одесский автор всероссийского масштаба

Биограф Бунина – А. Бабореко сообщает, что Иван Алексеевич впервые гостил на одесской даче Федоровых в июне 1896 года. Тут требуется уточнение. Упомянутая Бабореко дача была первой из снимавшихся Федоровыми вплоть до 1911 года, когда у них появился собственный дом. Одно из писем Бунина одесскому другу, отправленное из Полтавы в марте 1897 года, дает повод предположить, что Федоровы все еще не приняли решения относительно того, где бросить якорь, и на свою летнюю остановку в Одессе смотрели как на очередную временную. Бунин пишет товарищу:

«Сразу сейчас не соображу, где удобнее Вам устроиться на лето. Жить, конечно, в той же Полтаве можно очень недорого; но Вы ведь ничего определенного не пишете, о Полтаве ли Вы говорите или о других каких местах. Кроме того – ведь Вам нужней города с газетой. Если так – похлопочите насчет Киева. Клянусь Вам, нет лучше города на земле! Люди, кажется, дрянь, но сам город – нечто упоительно милое и изящное. А Днепр? – Паки и паки прошу Вас – пишите об этом обо всем определеннее. Вместе ли с Л.К. думаете проводить лето или она уедет за границу? И когда?»¹⁰

Скорее всего, с Одессой Федоровых окончательно связало рождение сына Виктора – в сентябре 1897 года, стабильность гонораров, которые ему давала одесская пресса, а также успех первого романа «Степь сказала». Что подтверждает автобиография.

«Существование мое литературой относится ко времени напечатания романа «Степь сказала». Но Боже мой, чего я только не писал для поддержания своего существования! И юмористические стихи, и газетные фельетоны, и библиографические заметки... Наконец в 96-97 году я переехал в Одессу, где лет пять писал фельетоны чуть не ежедневно, вплоть до постановки моей пьесы “Бурелом”. С этого времени я бросил газетную работу. Много писал, много путешествовал, но все это известно, и не мое дело писать об этом периоде моей жизни, который весь отразился в моих книгах»¹¹.

Александр Митрофанович слукавил. Он никогда не бросал газетной работы, просто счел, что лучше будет выглядеть в глазах читателя писателем в чистом виде, так сказать. Но ему можно верить, когда он говорит, что финансовое благополучие ему принес его первый роман. Пусть относительное, но благополучие. В письмах 1895–1897 года, когда речь заходит о романе, он сообщает своим корреспондентам (Бонч-Бруевичу и Бунину), что его объем – 12-13 печатных листов и издатель «Живописного обозрения», видя успех романа у читателей, платит ему по 75 рублей за лист. То есть он заработал на нем порядка 900 рублей. Много это или мало? Такой была в то время годовая зарплата учителя гимназии. Уездный врач получал 500. Но ведь помимо романа у Федорова были и другие гонорары – молодой автор обладал

¹⁰ Письмо И.А. Бунина А.М. Федорову. 15 марта 1897 г. // Бунин И.А. Письма 1885–1904 годов. М.: ИМЛИ РАН, 2003. Цит. по электронной версии в библиотеке М. Мошкова: http://az.lib.ru/b/bunin_i_a/text_1904_letters.shtml Письмо № 265.

¹¹ Автобиография. С. 105-106.

именно той работоспособностью, которая могла позволить жить на плоды литературных трудов.

Осенью 1900 года его пьесу «Бурелом» ставит санкт-петербургский Александринский театр, и театральная пресса представляет его новой звездой отечественной драматургии. Доходы позволяют Александру Митрофановичу путешествовать. В 1902 году он несколько месяцев проводит с женой и сыном в Италии, они посещают Рим, Флоренцию, Венецию. Энергичный литератор совершает дальнейшее путешествие на Ближний Восток, в Индию, Китай, Японию, США. «Одесские новости» постоянно печатают его путевые очерки, которые впоследствии становятся основой для сборника «На восток».

С 1903 года у Федорова года не проходит без новой или переизданной книги, плюс – поток публикаций в столичной и одесской периодике. В этом плане показателен 1911 год, когда в журнале вышел его новый роман «Бумажное царство», а также были переизданы отдельными книгами романы «Земля» и «Природа», сборник рассказов «Сила крови», сборник «Сонеты» и четыре тома из начавшего публиковаться семитомника сочинений – роман «Судьба», два тома рассказов «Весенний ветер» и «Утро», и один стихов – «Мой путь». За этим литературным взрывом последовало приобретение участка земли и постройка дома. Его часто называют дачей, поскольку местность дачная, но это большой каменный дом, во втором этаже которого у Александра Митрофановича, увлекающегося живописью, своя студия. Кабинет для занятий литературой – на первом этаже. В доме есть прислуга, садовник.

В 1911 и 1913 Пушкинская премия отметила его поэтические заслуги поощрительной грамотой. Это, конечно, не бунинское звание Почетного академика, но тоже признание.

Когда начинается Первая мировая, поэт, писатель и драматург становится военным корреспондентом. Репортажей и очерков с фронта хватает еще на один увесистый том сочинений – «С войны».

О жизни А. М. Федорова можно было бы сказать, что она удалась, если бы не революция и гражданская война, заставившая его бросить семью и бежать в Болгарию. Там он и дожил свой век, до последних дней мечтая вернуться на родину, вернуться на свое писательское место.

Для литературной Одессы Федоров не более чем персонаж из прозы Катаева. Причастность к почетной категории «забытых авторов» по определению не предполагает сохранение или изучение их творчества. Между тем он – один из основоположников одесской литературы, самобытного почвеннического явления, предтеча знаменитой плеяды, в которую вошли Бабель, Катаев, Олеша и другие авторы первой четверти XX века.

В автобиографической «Траве забвения» Катаев рассказывает, как он приносит свои первые стихи в редакцию одной из одесских газет и получает совет от ее сотрудника:

«...никто у нас в газете ровно ни черта в поэзии не понимает. Можете мне поверить. Только делают вид, что понимают. Так что я вам посоветую: дайте свои стихи прочесть настоящему писателю. Понимаете: *настоящему*. <...> У нас в Одессе, – сказал он, – живет один настоящий писатель. Юшкевича я не считаю. Александр Митрофанович Федоров»¹².

Почему Семен Соломонович Юшкевич, входивший в десятку самых высокооплачиваемых российских авторов того времени, не был зачислен в список «настоящих писателей»? Скорее всего, потому что стихов он не писал, поэтому юному Катаеву в качестве наставника не годился. Скорее он был бы полезен его брату Евгению, как создатель типа веселого одесского афериста Леона Дрея – предшественника Остапа Бендера.

А.М. Федоров прожил в Одессе добрую четверть века – наиболее благополучные и плодотворные свои годы, и у него есть все основания считаться одним из первых одесских

¹² Цит. по: В. Катаев. Алмазный мой венец. Избранное. М.: Эксмо, 2003. С. 95. (Далее – В. Катаев. Избранное.)

авторов всероссийского масштаба. Самым первым, наверное, следует считать упоминавшегося выше Семена Юшкевича. Сверстник и хороший знакомый Федорова располагает приоритетным правом на почетный титул, поскольку родился в Одессе. Но оба они в равной мере поработали над закладкой фундамента одесской литературы, построенном на сплетении русских и еврейских культурных корней.

Портреты с натуры

Портрет преуспевающего писателя Федорова, датированный 1907 годом, нам оставила Вера Николаевна Муромцева-Бунина. В апреле этого года она впервые приехала в Одессу в качестве гражданской жены Бунина. Остановка была сделана перед отплытием на Ближний Восток. Вере было тогда 26 лет. Несмотря на передовой взгляд на отношения полов, она с понятным интересом смотрела на одесских приятелей своего избранника. Она уже была наслышана и о «четвергах» в доме художника Буковецкого, на которые не допускались жены участников, и о ловеласе Федорове. Невольно, может быть, она ловила каждое движение, каждое слово человека, чье поведение могло в какой-то мере предсказать, какой будет ее жизнь с Яном. Она, конечно, рисковала.

Одесса ей понравилась невероятно.

«На углу Дерибасовской продавались цветы. И от цветов, и от этой широкой улицы с легко одетой толпой мне стало очень весело. Одесса необыкновенно уютна, чиста, в ней чувствуешь какую-то легкость – и в линиях зданий, и в одеждах, и даже в характере людей»¹³.

Встреча с друзьями была назначена на бульваре возле гостиницы «Петербургская», в ресторане которой собирались отметить приезд Бунина. Петр Нилус пришел вовремя и с цветами для дамы. Федоров опаздывал, и Иван Алексеевич заметил, что тот, видимо, задержался на очередном свидании. Наконец Федоров появился, вспоминает Вера, с извинениями и с розой в петлице. Согласитесь, занятное наблюдение: один приятель мужа приходит знакомиться с цветами для дамы, второй – с цветком для украшения собственной персоны! Объяснение Федорова, что-де он задержался в редакции, вызывает ироническую реакцию: «Конечно! Знаем мы эту редакцию!»

Затем следует обед в ресторане – еще одно яркое впечатление, на этот раз от одесской кухни. За столом речь заходит о путешествиях. Федоров делится впечатлениями о Японии, Азорских островах и Нью-Йорке, который его ужаснул. Вера замечает, что Александр Митрофанович больше любит рассказывать о себе, чем слушать других. Нилус, напротив, немногословен и внимателен.

Следующее застолье – на даче Федоровых. Вера продолжает изучать хозяина. Тот снова рассказывает о путешествиях, о том, что только что один его роман издан книгой, а другой печатается в журнале. Никогда, отмечает она, я не видела такого счастливого человека, который бы считал все свое, все связанное с ним, самым лучшим и прекрасным в мире.

Еще одно важное воспоминание об образе жизни семьи Федоровых:

«...Федоровы на зиму снимали вместе со своими друзьями, сестрами Вальц (*Вера Николаевна делает ошибку, фамилия сестер – Вальцер. – В.Я.*), двумя старыми девами и их племянником, большой дом в саду, который на зимние месяцы сдавался дешево. Летом в Отраде селились те, кому было необходимо целые дни проводить в городе. Комнаты

¹³ Вера Муромцева-Бунина. Жизнь Бунина. Беседы с памятью. М.: Вагриус, 2007. С. 300-301.

высокие, просторные, что давало Федоровым возможность приглашать к себе на обеды приезжих писателей и художников. Такие обеды проходили оживленно и весело»¹⁴.

Федорова любили за гостеприимство, за веселый нрав, но над ним и посмеивались. Муромцева-Бунина вспоминает, что поводом для шуток были и его романы, и самовлюбленность – с истинным упоением он сообщал товарищам: «Я сложен, как бог!...»¹⁵. Отголоски этого самолюбования прозвучали много лет спустя в болгарских письмах Федорова, когда ему уже было за 60.

Свой первый и отчасти карикатурный портрет А.М. Федорова нам оставил 20-летний Валентин Катаев в рассказе 1917 года «В воскресенье». Оно и понятно, учитель – первый объект изучения подмастерья.

Рассказ в две странички о том, как писатель Воронов принимает на своей даче работника почтовой конторы Игнатия Ивановича. Тот постоянно получает от Воронова рукописи для отправки их в столичные редакции. Тщеславный писатель делится с бедным почтарем своими творческими планами и в прекраснодушном порыве приглашает того на обед. Игнатий Иванович, млея от восторга, принимает приглашение. Описание дачной местности в рассказе – фотографически точное.

«Воронов вышел из конторы и не торопясь пошел домой по шоссе, вдоль цветущих и благоухающих садов, из-за которых временами появлялась белоснежная железная конструкция нового маяка с нижними опорами, выкрашенными суриком. Он лето и зиму жил на собственной даче над морем. По дороге он сдвинул фетровую шляпу на затылок, заложил за плечи трость, забросил на нее раскинутые руки и таким образом, отчасти напоминая распятие, стал обдумывать следующую главу нового романа, которая должна была происходить в ателье модного художника, среди веселой богемы...»¹⁶

Белоснежная конструкция – тот самый маяк, где имел место упоминаемый С. Лущиком в «Реальном комментарии» «заговор на маяке». К нему мог быть причастен Витя Федоров. Новый роман Воронова со сценой в ателье модного художника – один из тех одесских романов Федорова, в которых участвуют под своими и вымышленными именами члены одесского Товарищества южнорусских художников – приятели Александра Митрофановича.

Гостя встречает жена писателя, словесный портрет которой списан с Лидии Карловны Федоровой.

«...женщина, похожая на императрицу Екатерину Вторую, но в пенсне и с очень любезным лицом. <...> Она протянула чиновнику красиво изогнутую руку, которую он осторожно пожал, боясь повредить, и хотел поцеловать, но не рискнул»¹⁷.

А вот описание дома:

«Он прошел через довольно длинный коридор мимо вешалки, на которой висело множество пальто, макинтошей и шляп. В столовой было празднично – полно солнца, цветов в горшках и вазах, а стены салона были увешаны от пола до потолка разноцветными картинами в самых разнообразных, по большей части золоченых рамах и багетах»¹⁸.

«Разноцветные картины» – это смешно, но обратимся к гостям:

«Чиновник переступил порог. Перед ним в синем табачном дыму стоял Воронов, держа руки в карманах свободного артистического вестона, и горячо спорил с двумя

¹⁴ Там же С. 219.

¹⁵ Там же С. 174.

¹⁶ В. Катаев. В воскресенье // Собр. соч. в 9 томах. М.: Худ. лит., 1968–1972. Т.1. С. 24-25. (Далее – В воскресенье.)

¹⁷ Там же.

¹⁸ Там же.

господами, сидящими в чрезвычайно глубоких пухлых креслах. <...> Один из них был низенький, толстенький, с монгольскими глазками и, здороваясь, пробормотал нечто неразборчивое¹⁹.

Любой, видевший портрет одного из одесских друзей Федорова – художника Петра Александровича Нилуса, скажет, что это именно он описан в рассказе.

«... другой – сухой, с орлиным носом, как бы заплаканными зоркими глазами и маленькой бородкой, одетый в английский полуспортивный пиджак с большими накладными карманами, – протягивая ему руку в белоснежном крахмальном манжете, отчетливо произнес свою фамилию:

– Карпов.

«Пресвятая Богородица, – с восхищением подумал чиновник, – тот самый почетный академик по разряду изящной словесности Карпов! Вот это здорово!»²⁰

Академик по разряду изящной словесности, конечно же, Бунин. Примечателен диалог Воронова и Карпова.

«...хозяин продолжал прерванный спор.

– Нет, Ося, – говорил он, обращаясь главным образом к почетному академику по разряду изящной словесности, – вся прелесть Тютчева не в том, что он писал просто и легко...

– Ну, положим, не просто и не легко...

– Подожди, я еще не закончил свою мысль. А в том, что в нем есть, понимаешь ли ты, этакий вес, груз, сила.

Ты скажешь: ветренная Геба,
Кормя Зевесова орла,
Громокипящий кубок с неба,
Смеясь, на землю пролила.

А, брат! Это не нам с тобой чета! Силища.

Карпов кисло улыбнулся, но кивнул красивой головой с сильно выдающимся затылком»²¹.

Объявляя художественный гений Тютчева вне досягаемости их дарований, Воронов припускает талант академика до уровня собственного, чтобы не заносился. А этот *Ося*! В этом имени – явно отзвук Яна, – так называла Бунина Вера Муромцева.

Но при всей яркости портрета писателя Воронова, это – карикатура. Молодой автор не удержался от того, чтобы не поерничать. С первых лет их знакомства Федоров относился к поэтическому дару Бунина как к более значительному, всегда искал его совета, дорожил оценкой.

Через 50 лет после написания дачного рассказа Катаев вновь вернулся к своим воспоминаниям о первой встрече с Федоровым. Они и сдержаннее и, судя по всему, объективнее:

«Он нервно вздрогнул всем телом и вскинул свою небольшую красивую голову с точеным, слегка горбатым носом и совсем маленькой серебристой бородкой: настоящий европейский писатель, красавец, человек из какого-то другого, высшего мира; с такими людьми я еще никогда не встречался, сразу видно: утонченный, изысканно-простой, до кончиков ногтей интеллигентный, о чем свидетельствовали домашний батистовый галстук

¹⁹ Там же.

²⁰ Там же.

²¹ Там же.

бантом, вельветовая рабочая куртка, янтарный мундштук, придавая ему нечто в высшей степени художественное»²².

И здесь же читаем поразительное признание хозяина:

«— Ах, Валя... Все это, откровенно говоря, вздор. Хотя мой учитель Майков и считал меня самым талантливым своим учеником и предсказывал мне блестящую будущность, — при этом Федоров посмотрел на фотографию старика с черно-серебряной бородой, в строгих железных очках — поэта Майкова — с автографом, — но по совести, какие мы с вами поэты? Бунин — вот кто настоящий поэт. Вы читали Бунина?

— Нет.

— Вы не знаете стихов Бунина? — ужаснулся Федоров. — И ничего о нем не слышали?»²³

И здесь мы слышим ту же катаевскую иронию, едва не переходящую в гротеск. И что важно еще: Катаев, по его собственному признанию, приходит к Федорову не для того, чтобы тот познакомил его с Буниным. О Бунине он тогда еще ничего не знает. Главный авторитет для него сам Федоров. Опять же — с оговоркой — автобиографическую повесть все же не следует рассматривать как документ.

Но вернемся к рассказу «В воскресенье». При всем тяготении молодого автора к юмористическим передержкам рассказ настолько ярок и иллюстративен для биографа Федоровых, что возле одного из мелькнувших в нем образов хочется на минуту-другую задержаться.

«...Игнатий Иванович стеснялся и ел мало, хотя и был голоден. Рядом с ним сидела прелестная молодая девушка в простой черной юбке и еще более простой синей кофточке. Он первый раз в жизни сидел рядом с такой красивой, свежей, изящной женщиной. За столом, как всегда в таких случаях, было тесновато, и Игнатий Иванович боялся сделать лишнее движение, чтобы не толкнуть свою соседку локтем или не опрокинуть чего-нибудь на крахмальную скатерть. Но девушка не обращала на него внимания и лишь один раз сказала:

— Будьте добры, передайте мне салат.

Он передал и с умилением смотрел, как ее руки накладывали себе на тарелку деревянными ложкой и вилкой свежие листья, окропленные прованским маслом и лимонным соком»²⁴.

У писателя, даже начинающего, не бывает случайных персонажей, что позволяет спросить: кто эта молодая девушка? Память услужливо извлекает из своего хранилища известный портрет молодой женщины в простом синем платье кисти Натана Альтмана.

Катаеву не обязательно нужно было видеть этот портрет или знать о нем. Хотя Альтман бывал в это время Одессе и появлялся в кругу знакомых Федорова. Но молодой Катаев, делающий первые шаги в литературе, не мог не интересоваться успехами своих добравшихся до столиц сверстников. Скорее всего, он знал и об успехах бывавшей на даче Федорова Ани Горенко. Особенно с учетом того, что в 1917-м она — жена Гумилева и автор двух опубликованных поэтических сборников — «Вечер» и «Четки». Катаев мог знать и о ее давних интимных отношениях с Федоровым, что и позволило усадить ее в рассказе за обеденный стол, сервированный женой воздыхателя. Шутки, как говорится, ради. Но это, конечно, лишь предположение. Фантазия. Мы знаем и о других прелестных девушках, которые могли бывать на даче Александра Митрофановича, но о них разговор впереди.

²² В. Катаев. Избранное. С. 97-98.

²³ Там же.

²⁴ В воскресенье. С. 25.

Знакомство с Буниным

А. Бобореко сообщает, что Бунин познакомился с Федоровым в январе 1895 года в редакции Санкт-Петербургского журнала «Новое слово».

Первые шаги в литературе Федоров подробно описал в уже упоминавшейся повести «Что его ждет?». Главный герой – Александр Неручев приезжает из провинции в Петербург устраивать литературную жизнь. Город в этой повести мрачен и неприветлив. Редактор журнала «Житница», куда герой приходит за гонораром, ошарашивает визитера сообщением, что за стихи не платит. Нищие литераторы сражаются с издателями за гонорары, которые тут же пропиваются. Таков фон истории. В череде первых литературных портретов выделяется своим достоинством один – Шатилова. Очень похоже, что написан он с Бунина. Дружеские отношения между Неручевым и Шатиловым возникают очень буднично. Покинув вечеринку литераторов, они оказываются на вечерней улице. Закурив папиросу, сделав несколько затяжек, Шатилов говорит герою:

«– Вы мне нравитесь. <...> В вас есть что-то свежее, нездешнее... Давайте дружить с вами, или, как говорят школьники, водиться.

– Давайте, – ответил ему в тон Неручев. Ему понравилось, что в этом обращении, сделанном добродушным, ласковым тоном, не было ни тени покровительства или, тем паче, высокомерия.

Они подали друг другу руки и продолжали разговор уже как старые товарищи»²⁵.

Федоров подчеркивает, что дружба двух его персонажей началась с понимания обоюдного равенства. Если это было так, то стоит ли обращать на это внимание? Равные не говорят о равенстве, очевидное не стоит упоминания. Выходит, автор как раз осознавал, что равенства нет, есть только доброе отношение к нему, которое можно толковать как равенство лишь с известной натяжкой.

Вторая встреча состоялась на следующий год в Одессе. Бунин приехал сюда 9 июня и, перед тем как отправиться в заграничное путешествие, провел на даче Федоровых три дня. 16 сентября он возвратился в Люстдорф, где задержался еще на 10 дней. Следующие визиты к Федорову – в мае 1897 года и июне 1898 года.

Солнце и морской простор, обильные дачные застолья, именитые столичные гости и местные ценители искусств, купания на диком пляже, прогулки на яхте от люстдорфской Башни Ковалевского до Воронцовского маяка – и обратно. Сидя в беседке с бокалом вина или с душистой папиросой, можно слышать, как под обрывом бьет в глинистый берег и ворочает прибрежную гальку Черное море, резко вскрикнет чайка, по дороге, скрытой кустами сирени, когда-никогда глухо простучит паровичок.

Нет, скажите, как, направляясь в очередное путешествие на Восток, не провести здесь несколько ленивых и в то же время насыщенных общением недель, не отдохнуть от изматывающего ритма столичной жизни, не стряхнуть сонливый покой деревенской усадьбы?

Чем чаще приезжает Бунин в Одессу, тем шире круг его местных друзей. В числе ближайших для него: хранитель Одесского музея Владимир Павлович Куровский; издатель газеты «Южное обозрение» Николай Петрович Цакни; воспитанники Санкт-Петербургской Академии художеств и сооснователи Товарищества Южно-русских художников Петр Александрович Нилус и Евгений Иосифович Буковецкий. В своем особняке на Княжеской, 27 – доме Буковецкого – владелец устраивает знаменитые мальчишники – «четверги», где собираются одесские художники, скульпторы, музыканты, литераторы. Именно в этом

²⁵ А.М. Федоров. Что его ждет?. Повесть // Живописное обозрение. 1902. №10. С.1135-1136.

особняке Бунин поселился с Верой Николаевной после бегства из Москвы, здесь писал дневники, которые легли в основу «Окаянных дней», отсюда уехал в эмиграцию.

Скорее всего именно молодость и провинциальность обоих сыграли свою роль в сближении Бунина и Федорова. И даже если допустить, что вначале Федоров смотрел на Бунина как на равного, то очень скоро в их отношениях произошла корректировка.

Авторитет Бунина-поэта был для Федорова непререкаем. В многочисленных письмах к Бунину Федоров ищет его литературного совета. Бунин со своей стороны ведет себя по отношению к Федорову предельно деликатно, поощряя его и осторожно указывая на огрехи. Вот фрагмент письма 1900 года.

«Ты положительно с каждым месяцем пишешь стихи все лучше, – это говорю, ей-богу, искренно, – но что ты делаешь а la Горький эти дьявольские преувеличения? Очень тронуло меня стихотворение, но “русла”, по-моему, скверно. “Мутным, *глубоким* ручьем” – тоже чересчур. Пожалуйста, не рассердись, говорю это потому, что, м.б., со стороны видней»²⁶.

Еще одно письмо 1901 года:

«Милый А<лександр> М<итрофанович>, от всего сердца целую тебя за стихи. В них чрезвычайно много хорошего и, ей-богу, получивши твое письмо, я очень долго ходил взволнованный, растроганный и все внутри у меня пело стихами. Точно, правда, букет подснежников и я увидел возле себя, проснувшись. Очень мне нравится этот недолговечный цветок – “Гумер-Зая”, много трогательного, красивого и реально-пахучего и во всех других. Но много и небрежностей... да ведь ты сам знаешь и, вероятно, уже поправил»²⁷.

Но в то время как Федоров видел в Бунине более значительного, чем он сам, поэта, в прозе – в начале их творческого пути – он, видимо, считал более сильным себя. Снисходительно-покровительственный тон Федорова слышен в его рецензии на сборник Бунина «На край света и другие рассказы», вышедший в Санкт-Петербурге в 1897 году. Рецензия была опубликована в научно-литературном и политическом журнале «Новое слово».

«...сюжеты его рассказов несложны и будничны, нет у него также широкого захвата и глубины проникновения тою или другою идеею, но все это, наверное, со временем придет, если г. Бунин будет серьезно воспитывать и развивать свой талант, расширяя поле наблюдений и глубже вдумываясь в жизнь и взаимные отношения людей».

Завершается рецензия словами:

«...это произведение (*речь идет о последнем в сборнике рассказе «Тарантелла»* – **В.Я.**) подчеркивает дарование г. Бунина и выводит его далеко за пределы посредственностей, которых развелось так много в последнее время в виде ловких мастеров беллетристического цеха»²⁸.

Иными словами: ты, брат, уже лучше многих ловкачей, но тебе еще расти и расти. Но внешне в отношениях с Буниным никаких вольностей Александр Митрофанович не допускал. Не смел. Упомянутая рецензия была предварена письмом:

«Милый мой друг, только что сдал в “Новое слово” рецензию о Вас. Полагаю, что это вернейшее и лучшее из того, что о Вашей книге написано»²⁹.

²⁶ Бунин И.А. – Федорову А.М. 1 августа, 1900 / Письма Л. Андреева и И. Бунина // Вопросы литературы. 1969. № 7. С. 181.

²⁷ Там же. Письмо от 31 янв. 1901.

²⁸ Цит. по: Классик без ретуши. Литературный мир о творчестве И.А. Бунина. М.: Книжница. 2010. С. 40.

²⁹ Письмо Федорова Бунину от 26 марта 1897 г.. Цит. по: А.М. Федоров. Степь сказала. Уфа: Башкирское кн. изд., 1981. С. 262.

Действительно, Федоров первым перешел к крупным прозаическим формам и практически сразу снискал успех. В 1894 в журнале «Труд» вышла его повесть «Весною», в 1897 году – роман «Степь сказалась», а в следующем 1898 году второй – авантюрный – «Наследство». Все это были реальные успехи, сопровождавшиеся хорошими гонорарами. А гонорар, как известно, укрепляет веру в свой талант.

В «Грасском дневнике» Галины Кузнецовой записано интересное воспоминание Ивана Алексеевича, относящееся к более позднему этапу его дружбы с Федоровым, но, тем не менее, дающее представление о самооценке одесского романиста:

«Бывало Федоров покровительственно говорит: “Нет, брат, что эти все рассказы, странички... нет, ты напиши роман! Гляди, я уже восьмой диктую...”»³⁰.

Степь – судьба

А. М. Федоров написал дюжину романов, два из которых, с точки зрения художественного мастерства и социальной значимости, стоят особняком. Настолько особняком, что могли бы принадлежать другому автору. Это первый его роман «Степь сказалась» (1897) и третий – «Земля» (1903). Оба при жизни автора выдержали по три издания. Но последовавшие романы позволяют предположить, что молодой прозаик быстро осознал, что его финансовое благополучие зависит не от художественности и социальной значимости его текстов, а от накала описываемых страстей и его собственной производительности. Подход оказался верным. Совершенно бульварный роман «Природа» вызвал скандал у читателей, которые внезапно обнаружили себя в качестве его действующих лиц и... выдержал четыре издания!

На снижении литературных достоинств крупной федоровской прозы могло сказаться и то, что свои первые романы Александр Митрофанович писал сам, что позволяло ему держать под большим контролем текст, избегать длиннот в диалогах и стилистической неряшливости. Более поздние романы и повести он надиктовывал сидевшей за пишмашинкой жене. Работать над редактурой, шлифовать текст при его поточном производстве не было времени.

В литературоведческих статьях «Степь сказалась» представлен романом о расхищении башкирских земель. Это не совсем так, хотя дело и происходит в Башкирии, где коренное население обманом лишают пастбищ, на которых держится их уклад. Но постоянно употребляющееся в критике слово «расхищение» предполагает упрощенный литературоведческий подход советской эпохи, делившей действующих лиц романа на расхитителей и их жертв – угнетателей и угнетенных. Федоров прекрасно отразил сложность межэтнических отношений, описав и ошеломляющую дикость башкирского быта, и наличие в народе своих дурачков и негодяев, которыми манипулировали циничные русские ловкачи. Роман его динамичный, яркий, экзотичный. Описывая убогость башкирских деревень или красочность национального праздника с единоборством и скачками, Федоров расширял привычный мир русской литературы, в то время, кажется, не шагнувшей дальше Кавказа.

Но главное в романе – рассказ о роковой подчиненности человека судьбе, невозможности вырваться из ее пут. Этот фатализм стал отличительной чертой сюжетной механики Федорова. Башкирия с ее социальными проблемами была лишь фоном, на котором судьба демонстрировала свою власть над героями степной истории.

Молодой башкир Араслан Арасланов, получивший блестящее столичное образование, возвращается в родные края, чтобы помочь своему народу. Уфа названа в романе Светлорецком. Арасланов хочет остановить присваивающих землю мошенников, пользуясь своим юридическим образованием и опытом. Встретивший его светлорецкий приятель –

³⁰ Г. Кузнецова. Грасский дневник. М., 1995. С. 116.

Андрей Бессонов (фамилия героя первого романа Федорова явно перекликается с фамилией главного героя последнего – Виссонова) рассказывает ему о поразительном феномене башкирского народа:

«Многие из них очень неглупые люди. О некоторых даже говорят, что в юности они подавали большие надежды, отличались прекрасными способностями и необыкновенной восприимчивостью <...> А потом происходит чудная вещь. Приезжает, положим, башкир из столицы с самыми благими намерениями, во всеоружии самоновейшей, так сказать, культуры и цивилизации. Европейец – одно слово. Женится здесь – и прощай культура! Халат, трубка заменяют книги, и от всех плодов цивилизации через какие-нибудь пять-шесть лет остаются только одни карты. Культура отпала, как сусальная позолота, и трехнедельный европейец снова превратился в полудикого башкира»³¹.

Арасланова ждет на родине аналогичная судьба. К своему халату и трубке он приходит после потрясения в личной жизни – предательства женщины, но тут важно не что именно приводит сюжет к кульминационной точке, важна предопределенность возвращения в родную среду. Он снова становится ее традиционной составной – диким башкиром с рассудком восьмилетнего ребенка. Предшествующие 20 лет жизни вспоминаются ему как фантастический сон. Все возвращается на круги своя.

Возвращается в свою среду и жена Андрея Бессонова – Варвара. Разочаровавшись в бездетном браке, она бежит из дому, чтобы вернуться в родную театральную среду, где она может быть сама собой, как рыба может быть сама собой лишь в воде.

Название «Степь сказалась» следует понимать так – судьба сказалась. К теме роковой и неразрывной принадлежности человека народу, среде, призванию, Федоров вернется еще не раз. Да и на жизнь самого Александра Митрофановича можно посмотреть как на предопределенное свыше движение по кругу, в котором отправной и финишной точкой была беспросветная бедность. В неменьшей степени это относится и к его сыну, которого рок настиг со второй попытки, дав только отдышаться от первой.

«Мой мальчик»

Моему сыну

*Усни, мой мальчик, в неге сладкой...
Сти, баюшки-баю...
Как над томительной загадкой,
Я над тобой стою...*

*Что ждет тебя? Какую долю
Тебе готовит рок?
Улыбки ль счастья и волю,
Терновый ли венок?*

*Как часто в глубь души родную
Твоих невинных глаз
Гляжу с любовью и тоскою
О том, что мрак для нас.*

³¹ А.М. Федоров. Степь сказалась. СПб.: Т-во художественной печати, 1900. С. 35.

*И, как по звездам безмятежным
Пытливый астролог,
Хочу прочесть по глазкам нежным
Твою судьбу, сынок.*

*Но что б тебя вдали ни ждало
И кем бы ни был ты,
Живи во имя идеала
Добра и красоты.*

*Не забывай, что кровь народа –
Твоя родная кровь,
Что с ним у вас одна свобода,
И благо, и любовь.*

*Твой дед был раб... Он мне в наследство
Оставил след цепей.
Мое безрадостное детство
Угасло без лучей.*

*Заря твоей безвестной жизни
Ясна, светла, как рай,
Что дал тебе я – ты отчизне
Как долг святой отдай.*

*И будет мне легко в могиле,
Коль заповедь мою
Исполнишь ты, куда в силе...
Спи, баюшки-баю.*

А.М. Федоров. 1898 ³²

В разбросанной по миру семье Федоровых царит настоящий культ Виктора Александровича. Выполненные карандашом и маслом автопортреты ухоженного красавца украшают дома американских и швейцарских Федоровых. На фотографиях он предстает спокойным, сосредоточенным, полным достоинства. У него черные, аккуратно зачесанные назад волосы и модные костюмы. Он позирует для камеры в фотостудии, в театральной мастерской, с молодой подругой на яхте. Бесспорная красота подчеркивает трагичность его судьбы.

Но из передающейся из поколения в поколение семейной истории явно следует, что мученик не безгрешен. Объективный наблюдатель не может пройти мимо того факта, что в начале биографии Виктора Федорова лежит предательство. Нет, не предательство родины – в Гражданскую его побег был объясним и оправдан – он спасал жизнь. Но, бежав из погибающей от голода и тифа Одессы, Виктор бросил на произвол судьбы жену и двух сыновей-погодков, стареющую мать. В этом он повторил поступок отца, бежавшего за границу годом раньше. Как это могло произойти?

³² А.М. Федоров. Собр. соч. в 7 т. М.: Н.Н. Ключков, 1911–1913. Т.4. Мой путь: Стихотворения. С. 30. (Далее – Мой путь.)

Вопрос о брошенной матери первым задал Катаев – в «Вертере».

«Она оберегала его от превратностей революции, а он тем временем уплывал на лодке вместе с какими-то будто бы хорошо ей знакомыми людьми через Днестр, где в предрассветном тумане темнели густые прибрежные камыши и слабо маячили фигуры румынских пограничников. Теперь он был уже в полной безопасности, но навсегда потерял для нее, и это было невыносимо тяжело.

Почему же он бросил ее одну, не взял с собой?»³³

Действительно, почему? И не была ли вся его последующая жизнь расплатой за предательство?

Виктор родился в Одессе 1 сентября 1897 года. Район, где семья снимала квартиру до 1911 года, назывался Дача Отрада и находился в городской черте. От этого дома Александр Митрофанович мог дойти до редакций городских газет за полчаса.

После рождения сына Федоров звал в крестные Бунина, но, поскольку тот не смог прибыть в Одессу вовремя, крестным Вити стал Николай Петрович Цакни – издатель «Южного обозрения» и будущий тесть Бунина. Крестной – Мария Федоровна Вальцер – крестная Ахматовой.

Вера Бунина впервые увидела Витю в 1907 году, сделав запись в дневнике: «Толстый, десятилетний сынишка Федоровых, Витя, сидел в спальне. Это был забавный мальчик с непослушным вихром, очень смешливый, но с печальными глазами»³⁴.

В семейном архиве Федоровых есть и более ранние снимки Вити, на которых ему года три-четыре. Он из тех детей, о которых говорят: ухоженный ребенок. Но он никогда не улыбается, его взгляд действительно печален. Объяснение, наверное, в том, что фотография в те годы была делом серьезным, перед объективом не улыбались. Но Виктор не улыбался и на снимках 30-х и 40-х годов, когда фотограф мог позволить израсходовать несколько кадров из 36 (!) на неформальный снимок.

Виктор был сдержан, сосредоточен, углублен в себя. Тем более запоминающимися были для близких и его смех, и пение, и те случаи, когда он выходил из себя, выпускал пар.

В сборнике А.М. Федорова «Сила крови и другие рассказы», который вышел в 1911 году, есть замечательный рассказ «Слепые». Замечателен он упоением, с которым автор рассказывает о велосипедной прогулке с сыном:

«...мальчик мой весело оборачивается ко мне; смеется <...> и сильнее нажимает педали своего велосипеда.

Он едва достает их маленькими восьмилетними ножками, когда они опускаются вниз, но работает ими легко и легко сидит в седле. Сверкают на солнце металлические педали, мигают спицы колес, и кажется, что он, как паучок, на лету тклет светящуюся паутину, в которой путается ветер и пылинки, поднимающиеся с нагретой солнцем земли»³⁵.

Его мальчик не только ловок, у него тот особый проникающий в суть вещей ум, какого нет у взрослых. При встрече со слепыми он говорит отцу: «Они только по-нашему не видят, а по-своему видят».

Отец тает. И ему становится жаль себя, лишенного этого таланта.

В Отраде дом Федоровых находился в сотне метров от дома №10 по Отрадной, где жили Катаевы. Впервые Виктор появляется в прозе Катаева в рассказе 1914 года «Весенний звон». Но описанные события могли происходить несколькими годами раньше. «Хорошенький реалист Витя Александров» встречается с некой Таней, в которую автор

³³ В. Катаев. Избранное. С. 64.

³⁴ В. Муромцева-Бунина. Жизнь Бунина. С. 302.

³⁵ А.М. Федоров. Слепые. Цит. по электронной версии в Библиотеке М. Мошкова: http://az.lib.ru/f/fedorow_a_m/text_1909_01_slepye.shtml

тайно влюблен. Ревность такова, что становится причиной доноса на соперника – его матери: «Ваш Витя курит!»

Знакомство не переросло в дружбу. Подросткового Валью больше интересовал Александр Митрофанович, который мог оценить его первые стихи, дать совет. Но спустя годы Катаев создал психологический портрет Виктора-Димы, описав его таким, каким его видела мать, и этот портрет представляется совершенно точным. В нем – ключ к пониманию всей жизни Виктора Федорова.

«Она, конечно, лучше других знала недостатки своего мальчика: душевную вялость, избалованность. Она понимала, что он совсем не талантлив: юноша-дилетант из богатого дома. Однако в его характере были и доброта, и нежность, и доверчивость, слабые порывы к красоте, но в то же время какая-то умственная неустойчивость.

У него не было взглядов»³⁶.

Отец, боготворящий своего мальчика, бесконечно восторгающийся его достоинствами – талантом, умом, благородством – в критический момент жизни дает ему иную, может быть, единственно объективную оценку – «тряпка». Но разговор об этом впереди.

Федоровы на брачном ложе Бунина

С визитом в Одессу летом 1898 года Бунина связана новая глава его жизни, к которой оказались причастными супруги Федоровы. Речь о женитьбе Ивана Алексеевича на Анне Цакни.

Свадьба приняла трагикомический оборот, поскольку места молодоженов на брачном ложе заняли Александр Митрофанович и Лидия Карловна Федоровы. Молодые, после разразившегося под конец свадебного застолья скандала, ночевали в разных комнатах. Перед тем как рассказать, из-за чего молодые поссорились, а Федоровы оказались в их спальне, два слова о семействе Цакни.

Анна Цакни была дочерью издателя и главного редактора одесской газеты «Южное обозрение» Николая Петровича Цакни. Обрусевший грек, он провел молодость за распространением идей социал-демократии, был отправлен на каторгу, бежал за границу, жил в Париже. Все тяготы его революционной молодости, включая архангельское поселение и скитания по Западной Европе, с ним разделяла его первая жена Зинаида Кеселевна Львова – мать Ани. Новый царь помиловал Николая Петровича, что позволило ему вернуться в Россию, но вернулся он вдовцом – супруга скончалась от туберкулеза. В Одессе Николай Петрович женился вторично – на богатой гречанке Элеоноре Павловне Ираклиди. Как это случается у состоятельных дам, Элеонора Павловна была увлечена искусством, и даже училась пению у Полины Виардо. Влияние родной матери на Анино развитие было, судя по всему, минимальным, во всяком случае театр и музыка, которыми жила ее мачеха, интересовали ее несопоставимо больше, чем марксизм или другие модные философские течения.

Вера Николаевна Муромцева-Бунина пересказывает историю знакомства Ивана Алексеевича и Ани так: однажды на дачу к Федоровым приехали их друзья – супруги Цакни. Застолье завершилось ответным приглашением на их дачу. Здесь 27-летний Бунин столкнулся с 19-летней Аней и был сражен ее красотой. Бунин признавался потом Вере, что страсть его к Ане была «языческим увлечением». Можно было бы сказать, что именно эта страсть и не позволила ему сразу разглядеть душевную и интеллектуальную незрелость будущей жены, но он как раз ее разглядел, о чем сообщил в письме брату Юлию: «понимать она меня навряд ли будет».

³⁶ В. Катаев. Избранное. С. 61.

Несмотря на этот явный изъян, он спросил Анну, не согласилась бы она пойти за него, и, когда та ответила согласием, попросил, как полагается, ее руки у отца.

Вера Николаевна подробно пересказывает воспоминание мужа о том, как это произошло. Бунин и Цакни ехали в Люстдорф, стоя на открытой площадке парового трамвая, курили, и Бунин вдруг сказал Николаю Петровичу: «Прошу у вас руки вашей дочери». Тот удивленно посмотрел на Бунина и ответил: «Да я-то тут, дорогой, при чем? Это, мне кажется, дело Анны Николаевны. А что касается меня – я ничего против не имею».

Венчание состоялось 23 сентября 1898 года. Ему сопутствовали два инцидента, которые надолго запомнились участникам события. Во-первых, после венчания молодой муж с тестем, заговорившись о своем, ушли из церкви, забыв там жену с мачехой и другими родственниками. Но это еще были, как говорится, цветочки. Далее мы снова должны обратиться к воспоминаниям Веры Николаевны.

«На свадебном пиру разразился скандал. Иван Алексеевич в бешенстве выскочил из столовой в гостиную, запер за собой дверь на ключ и до утра не вышел. Мачеха до рассвета о чем-то шепталась с Аней, а Федоровы провели ночь в спальне, приготовленной для новобрачных.

Иван Алексеевич был раздражен и расстроен, так как перед свадьбой невеста передала ему, что Федоровы утверждают, что он женится из-за денег, хотя богата была мачеха»³⁷.

Обращает внимание, что Федоровы остались в доме на ночь, когда остальные гости разошлись. Может быть, чувствуя свою ответственность за случившееся, хотели быть рядом, чтобы в любую секунду попытаться объяснить и исправить положение? Шутка дело – сорвать свадьбу из-за подозрения в том, что жених женится на приданом!

На чем такое возмутительное, такое оскорбительное подозрение могло основываться?

Как сказали бы в Одессе, жених *таки да*, имел виды на капиталы семейства Цакни. Он буквально бросился в этот денежный омут, получив несколькими месяцами ранее решительный отказ женщины, в которую был отчаянно влюблен – Екатерины Михайловны Лопатиной, дочери известного московского адвоката, располагающей прекрасным образованием и к тому же – писательницы, которая бы уж точно понимала его. Понять-то она его понимала, но любила другого.

Письмо Ивана Алексеевича брату Юлию – образец самого что ни на есть циничного прагматизма. Оно написано в июле 1898 года – за два месяца до свадьбы.

«Я чуть не каждый день езжу на дачу Цакни, издателя и редактора “Южного обозрения”, хорошего человека с хорошей женой и красавицей дочерью. Они греки. Цакни человек с состоянием – ежели ликвидировать его дела, то, за вычетом долгов, у него останется тысяч сто. У него два имения, одно под Одессой, другое в Балаклаве – виноградники, но сейчас совсем без денег, купил газету за три тысячи у Новосельского, без подписчиков и, конечно, теперь в сильном убытке, говорит, истратил на газету уже тысяч десять и, говорит, не выдержу, брошу до осени, ибо сейчас денег нет. Расходится “Южное обозрение” три тысячи экземпляров (с розницей). Вот и толкуем мы с ним, как бы устроить дела на компанейских началах. Ведь помнишь, мы всю зиму толковали и пили за свою газету. Теперь это можно устроить. Цакни нужна или материальная помощь, или сотрудничество. “Своей компании, говорит он, я с удовольствием отдам газету”. (Направление “Южного обозрения” хорошее), могу отдать или со всем с тем, чтобы года три ничего не требовать за газету, а потом получать деньги в рассрочку, или так, чтобы компания хорошая сотрудников работала бесплатно и получала барыши, ежели будут, причем и редактирование будет компанейское, или так, чтобы был представитель-редактор от компании, а он будет только сотрудником, или чтобы сотрудники, при тех же условиях, вступили пайщиками в газету,

³⁷ В. Муромцева-Бунина. Жизнь Бунина. С. 176.

чтобы можно было, наконец, создать хорошую литературную газету в Одессе. Прошу тебя Юлий, подумай об этом серьезно. Нельзя ли, чтобы Михайлов (*издатель журнала «Вестник воспитания» – В.Я.*) вошел главным пайщиком? Или устроим компанию? Только погоди с кем бы то ни было переписываться – газета должна быть прежде всего в наших с тобой руках. Цакни просит меня переехать в Одессу, если это дело устроится. Хорошо бы устроить! Тем более, что все шансы за то, что я женюсь на его дочери. Да, брат, это удивит тебя, но выходит так. Я хотел написать тебе давно – посоветоваться, но что же ты можешь сказать? Я же сам очень серьезно и здраво думаю и приглядываюсь. Она красавица, но девушка изумительно чистая и простая. Спокойная и добрая. Это говорят все, давно знающие ее. Ей 19-й год. Про средства тоже не могу сказать, но 100 тысяч у Цакни, вероятно, есть, включая сюда 50 тысяч, которые ему должен брат, у которого есть имение, где открылись копи. Брат этот теперь продает имение и просит миллион, а ему дают только около 800 тысяч. Страшно только то, что он может не отдать долг. У Цакни есть еще и сын. Люди они милые и простые. Он был в Сибири, затем эмигрировал, 9 лет жил в Париже, жена его – женщина-врач. Тон в семье хороший, не знаю, как Цакни отнесется к моему предложению. С Анной Николаевной, – которая мне очень мила, я говорил только с ней, но еще не очень определенно. Она, очевидно, любит меня, и когда я вчера спросил ее, улучшив минуту, согласна ли она, – она вспыхнула и прошептала “да”. Должно быть, дело решенное, но еще не знаю точно. Пугает меня материальное положение – я знаю, что за ней дадут, во всяком случае, не меньше 15 – 20 тысяч, но, вероятно, не сейчас, так что боюсь за первое время. Думаю, что все-таки лучше, если даже придется первое время здорово трудиться – по крайней мере, я буду на месте и начну работать, а то я истреблюсь. Понимать меня она навряд будет, хотя от природы она умна. Страшно все-таки. *В тот же день пиши мне как можно подробнее – посоветуй*»³⁸.

Не может быть, чтобы, проводя столько времени с Федоровым, – речь о лете 1898 года, – Бунин в той или иной форме не изложил ему все те же плюсы и минусы породнения с семьей Цакни, которые он излагал брату. Но мы не знаем, какие чувства испытывал Александр Митрофанович по поводу мотивов, заставивших молодого бесприданника броситься в семейную жизнь. Все же тот был его собратом по перу, другом. Но Цакни был больше чем другом, он был работодателем. Александр Митрофанович в то время сотрудничал с «Южным обозрением» и знал, в каком тяжелом финансовом положении находится газета. Он не мог не понимать, что и Цакни возлагал на Бунина определенные надежды по спасению своего детища. Интерес был взаимным.

Цакни видел в Буnine человека, способного привлечь к сотрудничеству именитых литераторов, с которыми тот был знаком лично. Ему готовилось место редактора литературного отдела газеты. Это было, кажется, единственным оправданием выдачи дочери замуж за человека, у которого буквально гроша за душой не было. Иными словами, если бы жених не был Буниным, ему бы, скорее всего, дали от ворот поворот.

Ни Иван Алексеевич, ни Николай Петрович в тот момент не предполагали, что безденежье и унижительная зависимость от щедрот тестя станут одной из главных причин неудачи этого брака. Деньги, которые Аня, бывало, просила у мужа, тот должен был сначала взять у ее отца. Но в тот момент издатель и писатель были полны творческих планов и так рассчитывали друга на друга, что все остальные мысли отодвинулись на второй план. В том числе и мысли о забытой под венцом молодой жене.

Из переписки Ивана Алексеевича с братом Юлием 1899-1900 года можно сделать вывод, что Элеонора Павловна Цакни и ее близкая подруга Лидия Карловна Федорова

³⁸ И.А. Бунин – Ю.А. Бунину. Между 17 и 19 июля 1898 года. В кн.: Бунин И.А. Письма 1885–1904 годов. М.: ИМЛИ РАН, 2003. Цит. по электронной версии в Библиотеке М. Мошкова: http://az.lib.ru/b/bunin_i_a/text_1904_letters.shtml Письмо № 306.

смотрели на этот брак не так, как их мужья. Трезвее. С тревогой. И сердце прагматичной Лидии Карловны было не с Буниным, а с Цакни. Впоследствии, когда отношения Анны Николаевны и Ивана Алексеевича напряглись до предела и они жили порознь, старшие Цакни пользовались Лидией Карловной как агентом влияния на Бунина: просить его не докучать Ане письмами, не отбирать у нее ребенка, не обращаться в суд. Т.е. мы говорим о самых доверительных отношениях и полном взаимопонимании двух женщин.

Могла ли Элеонора Павловна не обсуждать опасности неравного брака с падчерицей накануне свадьбы? И могла ли она не делиться своими переживаниями с Лидией Карловной, от которой узнавала о настроениях Ивана Алексеевича? Вряд ли.

Зная все это, легко представить себе такую сцену за свадебным столом. Еще не пережившая утреннюю обиду на мужа за инцидент в церкви, теперь с особой остротой вспоминающая предостережения мачехи, 19-летняя Аня задает супругу вопрос:

– Ты действительно любишь меня или все это из-за денег? – голос ее дрожит.

– Почему ты так решила? – бледнеет Иван Алексеевич.

– Федорова говорит, – едва слышно отвечает Аня.

Теперь становится понятным, по какой, отнюдь не анекдотической, причине, Александр Митрофанович и Лидия Карловна провели ночь не в своей постели.

Возвращение на Волгу

«Федоров ушел в “Новости”, ибо Цакни отказался платить ему 150 р. Теперь “Новости” посылают Федорова к голодающим. Вот счастье-то! Что бы можно написать при таком материале?»³⁹

Это – строки из апрельского 1899 года письма Ивана Алексеевича Бунина брату Юлию.

Переход Федорова из «Южного обозрения» в «Одесские новости» был легким – буквально – через дорогу. Редакции находились в полусотне шагов одна от другой на Ланжероновской. Но тут привлекает другое – скептицизм Бунина по поводу командировки Федорова в голодающие районы Поволжья. С одной стороны, вспомнив подоплеку породнения Ивана Алексеевича с семейством Цакни, мы можем сказать, что ему был свойственен вполне циничный прагматизм, который мог проявиться и в выборе ходовой темы сочинительства. Но тут возникает впечатление, что Иван Алексеевич не вполне точно выразил свою мысль. Скорее, надо было бы написать: «что бы *еще* можно было написать при таком материале?»

Дело в том, что 1899 год был урожайным, и хотя доброхоты продолжали ездить на Волгу, ситуация уже не была столь катастрофической, как семь-восемь лет назад. Настоящее бедствие пришло в 17 губерний Черноземья и Среднего Поволжья, где проживало порядка 36 млн душ, в 1891-92 годы. Причиной неурожая было безостановочное чередование неблагоприятных метеоусловий. Положение усугубилось эпидемией тифа и холеры. Число жертв среди крестьян превысило 400 тысяч человек. Парадоксально, но хлеб в стране был, более того, его продолжали продавать за рубеж. Первые попытки правительства запретить вывоз хлеба, направив его на внутренний рынок, вызвали хаос, поскольку зерноторговцы с удвоенным усердием направили свои запасы заграничным заказчикам.

Для помощи голодающим в ноябре 1891 года при Министерстве внутренних дел был создан «Особый комитет по оказанию помощи населению губерний, пострадавших от неурожая». До весны 1893 года только по официальным благотворительным каналам была распределена деньгами и хлебом помощь на сумму 19,7 млн рублей – около 13 % от размера

³⁹ И.А. Бунин – Ю.А. Бунину. 6 апреля 1899 года. Там же. Письмо № 348.

правительственной помощи. К этому следует добавить, что масса dobroxотов везла в пострадавшие районы наличные в карманах и саквояжах, расходуя их на месте по своему усмотрению. Спасение населения голодающих губерний стало поистине всенародной акцией. И отчасти – международной – в марте 1892 года в порт Лиепая вошел корабль «Индиана», в трюмах которого находилось 1900 тонн продуктов. В апреле у тех же причалов ошвартовался «Миссури» с 2500 тоннами зерна. Это были дары американских фермеров голодающим России.

Совершенно естественно, что в этой гигантской по своим масштабам спасательной операции приняла участие российская научная и творческая интеллигенция. Писатели участвовали в сборниках, доходы от продажи которых шли на помощь голодающим, другие, как Чехов, надевший лекарский халат, отправились в районы бедствия, чтобы лично помогать пострадавшим. Объясняя причины голода, Лев Толстой писал:

«Люди и скот действительно умирают. Но они не корчатся на площадях в трагических судорогах, а тихо, с слабым стоном болеют и умирают по избам и дворам. Умирают дети, старики и старухи, умирают слабые больные. И потому обеднение и даже полное разорение крестьян совершалось и совершается за эти последние два года с поразительной быстротой. На наших глазах происходит не переставший процесс обеднения богатых, обнищание бедных и уничтожение нищих. Процесс совершается обыкновенно так: богатый сначала продаёт лишнюю скотину, то есть трогает основной капитал, лишается своего обеспечения в случае невзгоды, средний закладывает часть земли, берёт под заработки у господ и их приказчиков вперёд деньги, закабалия себя часто в неисполнимую весеннюю и летнюю работу. Бедный продаёт последнюю корову и потом лошадь и потом закладывает или продаёт землю. Нищий ходит по миру. Когда богатым проедено то, что выручено за скотину, он делает то, что делает средний, то есть закладывает землю, закабалиется в работу, а средний – то, что бедный, а бедный – то, что нищий – продаёт надел, если ещё раньше его не отобрали в пользу богатого, исправного плательщика. Между тем нищий уже начинает ломать двор, ригу, топить ею избу и, наконец, продаёт свою избу на дрова, а семья частью идёт на квартиру, за которую заплачивает каким-нибудь остатком имущества, частью расходится по миру. Вот что происходит в экономическом отношении. В нравственном же отношении происходит упадок духа и развитие всех худших свойств человека: воровство, злоба, зависть, попрошайничество и раздражение, поддерживаемое в особенности мерами, запрещающими переселение. ...В гигиеническом или скорее в антигигиеническом, то есть в отношении смертности народа происходит то, что общие шансы на смерть значительно увеличиваются»⁴⁰.

Активную помощь в сборах средств для голодающих принимали В.Г. Короленко, Н.Г. Гарин-Михайловский, Н.С. Лесков, Е.Н. Чириков, В.В. Вересаев, Н.Д. Телешов и многие другие. В списке этих авторов нашлось место и И.А. Бунину. Тема отразилась в двух его рассказах – «На чужой стороне» (1893) и «На край света» (1894).

К текстам именитых авторов, посвященных голоду, следует прибавить безостановочный поток публикаций в газетах и журналах того времени. Это и должно объяснять скептицизм Бунина по поводу командировки Федорова, уже лишенной былой актуальности. Отсюда вопрос Ивана Алексеевича: что еще можно написать об *этом*?

Но Федоров подошел к заданию как настоящий профессионал. Прибыв в родные места, он поехал по деревням, поговорил с крестьянами и теми, кто оказывал им помощь в общественных столовых и сельских лазаретах. Его корреспонденции о поездке регулярно

⁴⁰ Л.Н. Толстой. Отчет об употреблении пожертвованных денег с 20-го июля 1892 г. по 1-е января 1893 г. ПСС. М.: Гос. изд. худ. лит., 1954. Т. 29. Цит. по: <https://www.litres.ru/lev-tolstoy/polnoe-s-6880708/chitat-onlayn/>

печатались в «Одесских новостях» с апреля по июль 1899 года и были использованы им при написании своего третьего романа – «Земля». Возможно, в глазах Бунина и других его современников этот роман казался не очень актуальным, он мог даже раздражать своим очевидным опозданием, но семилетний зазор между поездкой Федорова на Волгу и постигшей эти края трагедий с дистанции в сто с лишним лет сходит на нет. Роман представляется очень точным документом трагических событий именно 1891-92 годов.

Роман волнующе достоверен. Реализм в описании вымиравших от голода, цинги и тифа деревень своей прямолинейной простотой напоминает местами лагерные рассказы Варлама Шаламова.

Но эта книга не просто о борьбе с большой народной бедой, она снова о судьбе, о неразрывной связи человека со своей средой, в контексте романа – сословием. Картины вымиравших деревень – такой же фон, как и башкирская степь.

Главные герои – выпускники петербургской военно-медицинской академии – Михаил Хрисанфович Останков и Илья Матвеевич Курганов. Первый из дворян, второй – из простонародья. Оба едут на Волгу спасать голодающих, но Курганов видит в поступке товарища лишь «минутную, красивую вспышку». Доверия между ними так и не возникает, хотя оба самоотверженно трудятся в гуще одних и тех же цинготных и тифозных крестьян. Оба рискуют жизнью и в конечном итоге Останков заболевает тифом и умирает. Свое недоверие, свою враждебность к товарищу Курганов объясняет просто:

«...прошло тридцать лет, всего тридцать лет, как мы для них перестали быть вещью, которую можно было продать, выменять на собаку. <...> Это мне трудно забыть...»⁴¹.

Одна деталь в этой горькой жалобе обращает внимание. Курганов говорит о 30 годах с момента отмены крепостного права – в 1861 году. Это – подсказка автора читателю – действие романа происходит в 1891.

Но вернемся к сути жалобы. Обида Курганова кажется иррациональной. Сам Останков людьми не торговал и на собак их не менял – слишком молод. Но в глазах Курганова он несет ответственность за преступление всего своего сословия. В этом есть логика: выросший в дворянской среде и культуре должен обладать всеми типичными свойствами представителя этой среды, включая отношение к представителям простого народа как к более низкой по развитию группе населения.

Феномен хорошо известный и в наши дни. Лучший пример – неизбежный комплекс вины белой Америки перед черной. И это невзирая на то, что Америка не была единственной рабовладельческой страной в мире, несмотря на то, что в Америке были и белые рабы, и черные рабовладельцы, несмотря на то, что в борьбе с рабовладением сложили свои головы сотни тысяч белых, несмотря на то, что после отмены рабовладения прошло не 30 лет, а полтора с лишком века! Извечное недоверие и не искупаемая никакими средствами историческая вина группы перед группой – не сочинение писателя, это – реальность. Федоров это описал на российском материале в 1903 году.

В «Земле» описан еще один интереснейший феномен – дестабилизации общества во время его бедственного положения. Один из персонажей романа – бродяга-поджигатель. Он сознательно устраивает пожары в умирающих деревнях, чтобы возмутить отчаявшийся народ на бунт, цель которого – хаос и смена власти. Революционный механизм, не потерявший эффективности и в наши дни.

Уже после смерти коллеги Курганов приходит, кажется, к единственно правильному выводу относительно того, как ему следовало строить отношения с Останковым – забыть обиду и слиться в братских объятиях. Но поскольку Курганов со своим выводом сильно запоздал, конфликт разрешился иначе – Останков, действительно представляющий останки

⁴¹ А.М. Федоров. Земля. М.: Изд. С. Скимунта, 1905. С. 283.

русского рабовладельческого сословия, ушел из жизни, оставив Курганову все, включая невесту Ольгу.

Новый мир произрастает на руинах старого. Слияние, срастание, гармония сосуществования, всепрощающая братская любовь невозможны. Человек слишком слаб и неразумен, чтобы преодолеть рубеж, возведенный перед ним его судьбой.

Роман еще хорош яркими и точными описаниями приволжских степей, совершенно волшебна картина Пасхальной службы в сельском храме. Чудесно изображена весенняя Одесса, в которую Останков заезжает по дороге на Волгу, чтобы повидаться с невестой. Описание поездки на извозчике от железнодорожного вокзала до гостиницы на бульваре, где он останавливается, одни из лучших одесских страниц Федорова, напоминающие по своей сочности и выразительности картины его одесского приятеля – импрессиониста Петра Нилуса.

У «Земли» есть еще одно бесценное качество – отсутствие тех сложных интимных связей персонажей, без которых не обходятся другие романы Федорова.

На рубеже столетий

В 1900 в жизни Федорова произошло несколько значительных событий. В августе в санкт-петербургском Александринском театре начались репетиции «Бурелома». Второе издание романа «Степь сказала» – книгой – закрепляло его успех прозаика. Но в то же время в семье случилась трагедия, о которой мы узнаем из письма Федорова Бунину:

«Лидия Карловна около месяца тому назад родила и ребеночек умер. Это на меня подействовало так нехорошо, что я заболел нервным расстройством»⁴².

Бунин отвечает:

«Очень жалко тебя, милый Митрофаныч, хотя надеюсь, что ты уже поправился. И отчего это вышло? Или это роковой 7-ой месяц виноват? Желая Л<идии> К<арловне> здоровья, а тебе – поскорей забыть об этом. С пьесой от души поздравляю»⁴³.

Упоминание 7-го месяца позволяет предположить, что ребенок умер в июле. Письмо Бунина датировано 1 августа, то есть он отреагировал на недавнее событие. В том же письме Бунин привлекает еще одна фраза: «Ты положительно с каждым месяцем пишешь стихи все лучше, – это говорю, ей-богу, искренно...»⁴⁴

Федоров, мы знаем, получил свою долю официального признания в качестве стихотворца в виде двух поощрительных грамот Пушкинской премии – в 1911 и 1913 годах. Но мнение о нем ряда известных нам авторов того времени было невысоким. Как, например, у Ахматовой, писавшей в письме 1908 года о «неярком и довольно сомнительном таланте» Федорова с безжалостным заключением: «Он не поэт».

Тремя годами ранее Горький писал Бунину:

«Я внимательно прочитал стихи Федорова трижды и – отказываюсь их издавать. Скучен он, однообразен, – его лучшие стихи – подражание Вам»⁴⁵.

⁴² А.М. Федоров. Письмо без даты. РГАЛИ, ф. 519, оп. 2, ед. хр. 2, л. 3-4. Цитируется по электронной версии в Библиотеке Мошкова:

http://az.lib.ru/b/bunin_i_a/text_1904_letters.shtml Письмо № 425.

⁴³ <Бунин – Федорову> 1 авг. 1900 г. // Вопросы лит. 1969. № 7. С. 181.

⁴⁴ Там же.

⁴⁵ <Горький – Бунину> 16-17 мая 1905. Петербург // Переписка А.М. Горького и И.А. Бунина: Публикация архива А. М. Горького. В сб.: Горьковские чтения. 1958-1959. М.: АН СССР, 1961. С. 37.

Оценка Горького воспринимается с особой иронией, когда ты знаешь, что федоровский «Альбатрос» (1903) является не чем иным, как перепевом горьковской «Песни о буревестнике» (1901).

Седой, усталый альбатрос
Вдали от берегов пустынных
Летел за мной на крыльях длинных.
Навстречу шквалов, бурь и гроз...⁴⁶

Конечно, в поэзии Федорова есть к чему придраться, взять только это «навстречу шквалов», но в его интимной лирике, появившейся на рубеже двух веков, столько задушевной откровенности, нежности, грусти и такой изящной мелодичности, словно именно на это время приходится главный всплеск его поэтического дара.

Ты от ласк моих утомлена.
Таёт свет зари на стеклах окон.
Как рассвет, ты призрачно-бледна,
И, как тень, воздушен темный локон.

Глаз твоих немая глубина
Так легко изменчива и странна:
То чиста, прозрачна и ясна,
То темна, загадочна, туманна.

О, мерцанье любящих очей,
Не уловит мысль твое значение!
Говоришь ты с сердцем без речей,
Открываешь таинство забвенья.

Поцелуи гаснут на устах,
В каждой капле крови – поцелуи,
И в твоих движениях и чертах
Разлились их ласковые струи.

Ты скользнула робко на крыльцо,
Дрогнул мрак... Смешались свет и тени...
Свежий ветер потянул в лицо...
Как живые, скрипнули ступени...⁴⁷

Это стихотворение датировано 1899 годом, невероятно насыщенном для Федорова. Всю весну и начало лета он находился на Волге в качестве корреспондента «Одесских новостей». Но журналистская и благотворительная работа совершенно не отразились в стихах. Стихи были отданы другому.

Одно из них – «Ранняя осень» датировано 1900 годом. В нем явно отразилась семейная трагедия Федоровых – смерть новорожденного, депрессивное одиночество, в которое

⁴⁶ А.М. Федоров. «Ты от ласк моих утомлена» // А.М. Федоров. Мой путь.

⁴⁷ Там же. С. 40-41.

погружается Лидия Карловна, мучительное стремление Александра Митрофановича преодолеть возникшее между ними отчуждение.

Печальная, беззвучно шла она
По желтым листьям, падавшим как слезы,
В тенях волос сквозила седина –
Глухой зимы знакомые угрозы,
И холодел румянец смуглых щек,
И взгляд ее был вдумчив и глубок.

И грусть такая чувствовалась в нем,
Что от лучей божественного взгляда
Моя душа ответным огоньком
Затеплилась, как вечная лампада.
Я не видал прекраснее очей,
Задумчивее, глубже и грустней.

Дыханьем умирающей травы,
Сырой землей, корою и грибами,
И ароматом тающей листвы
Был полон воздух. Тонкими перстами
Она ветвей касалась, и листки
Летели с них, кружась, как мотыльки⁴⁸.

За «Ранней осенью» следует группа стихотворений, которые, собранные вместе, обретают сюжетность и биографичность, хотя, явно не обладают художественной ценностью приведенных выше.

Холодные капли дождя
Падают мне на лицо.
Закрылся рукой я от них, –
На ней потускнело кольцо.

Смешались с холодным дождем
Горькие слезы мои,
По бледным щекам без конца
Льются живые струи⁴⁹.

Конечно, критически настроенный читатель не пройдет мимо «щеки без конца», заставляющих вспомнить собак породы сенбернар, но мы прежде всего обращаем внимание на потускневшее кольцо, надо понимать, обручальное. Следующее стихотворение «Уходи!» – буквально жалоба поэта на то, что его выгоняют из дому:

За окнами виден из тьмы огонек,
Когда-то и я обогреться там мог...
То было давно и не будет во век.

⁴⁸ Там же. С. 50-51.

⁴⁹ Там же. С. 58.

Впереди, позади
Слышу шепот глухой:
«Уходи, уходи,
Ты чужой нам, чужой!»
<...>
Я молю: «Пощади,
Ради счастья в былом!»
Но, как эхо кругом,
Впереди, позади
Все твердит: «Уходи!»⁵⁰

Фраза «ты чужой нам» указывает на то, что его лирическая героиня не одна. С кем же она? Ответ находим в стихотворении «Месяц поникший...». Речь идет о любимом в творчестве и в жизни Федорова персонаже – «его мальчике». Но в данном случае к нему обращается лирическая героиня стихотворения – его мать. Что не меняет дела.

Месяц поникший глядит мне в окно,
Спи, мальчик мой, усни.
Свеча догорает. Как жутко... темно...
Господь тебя храни.
Из рук выпадает невольно игла.
О, Боже, подкрепи!
Слезам я каждый стежок облила.
Спи, мой сыночек, спи.
От горя-ль, от холода-ль, бьет меня дрожь.
На свете мы одни.
Отец твой... как вырастешь, все ты поймешь.
Спи, мальчик мой, усни.
И если ты встретишь его на пути,
В толпе, в глухой степи, –
За все – за себя, за позор мой... прости.
Спи, мой сыночек, спи⁵¹.

От написания этих стихов до публикации их в 4-м томе собрания сочинений автора отделял десяток лет. И если первые два стихотворения представляются лучшими образцами интимной лирики Федорова, то последующие он, кажется, решил сохранить лишь на память о житейской коллизии, все еще вызывающей у него сладкую сердечную боль.

Но без вопросов тут не обойтись. О каком позоре говорит лирическая героиня последнего стихотворения? Смерть новорожденного ребенка – горе для матери, но не ее позор. Причина позора явно в другом. Почему потеря ребенка сопровождалась отчуждением от мужа, который испытывает такую мучительную, такую неудовлетворенную тягу к жене? Ответ тут, с учетом личных качеств Александра Митрофановича, напрашивается один – первое стихотворение из приведенных в этой главе, равно как и другие того же времени – о тоске его лирического героя и постоянном ожидании любимой – могли быть адресованы не Лидии Карловне.

⁵⁰ Там же. С. 60.

⁵¹ Там же. С. 64.

И действительно одна фраза в письме Бунина брату подтверждает, что 1899-й год был не самым лучшим в отношениях супругов Федоровых:

«Федоров ни х<...> не делает, пьет, б<...> и т.д.»⁵².

Ботинки Куприна

В 1936 году по просьбе известного советского литературоведа Александра Иосифовича Роскина Лидия Федоровна написала замечательно живые воспоминания об одесской встрече своего супруга с Чеховым. Она произошла в феврале 1901 года, когда Антон Павлович направлялся из Ниццы в Крым и сделал остановку в Одессе. Воспоминания были опубликованы лишь в 1960 году вдовой Роскина в чеховском выпуске «Литературного наследства».

Чехов приехал в Одессу вместе с издателем «Журнала для всех» В.С. Миролубовым. Остановившись в «Лондонской», Чехов выразил пожелание встретиться с кем-нибудь из местных товарищей по цеху, скажем, с Федоровым, автором успешного «Бурелома», или с молодым и подающим большие надежды Куприным. Миролубов направился в редакцию «Одесских новостей», где нашел А.М. Федорова. Тот немедленно направился на встречу со своим кумиром. Они совершили прогулку по бульвару, по улицам, зашли в магазины.

Вернувшись домой, чтобы поделиться переполнявшими его впечатлениями с женой, Федоров обнаружил там Куприна. Он тут же сообщил ему, что Чехов хочет встретиться с ним сегодня же вечером. Куприн решительно отказался, сославшись на две причины. Во-первых, только что вышла его первая книга и Чехов мог ее уже прочесть. Этот довод вызвал у супругов Федоровых взрыв хохота. Вторая причина тоже не могла не вызвать улыбку.

«– Вы посмотрите на мои ботинки! – сказал Куприн. – Разве можно в таких ботинках идти к Чехову! Тебе хорошо, ты после “Бурелома” твоего стал богат, а я – нищий!

– Скоро будешь и богат и славен, – ответил Федоров. – А пока ты нищий, а я богат как Крез, я могу купить тебе ботинки. Мы по дороге заедем в магазин обуви на Екатерининскую к Безиковичу, там ты оставишь свои старые ботинки и наденешь новые, вот и все»⁵³.

Уходя в тот вечер от Федоровых, Куприн пригрозил Александру Митрофановичу: «Никогда тебе не прощу купленных мне ботинок».

В очерке «Куприн», опубликованном в 1937 году в парижских «Последних новостях», Бунин рассказывает, как при первой же встрече в Люстдорфе Куприн пожаловался ему на свои разбитые ботинки. Во время последующих встреч Бунин стал уговаривать Куприна написать что-то «хоть для заработка». Куприн написал «Ночную смену», которую Бунин отправил в «Мир божий», где ее опубликовали в 1899 году. Помимо этого Куприн, под давлением Бунина, написал еще «какой-то рассказик», который Бунин немедленно отвез в «Одесские новости», где ему «удалось тут же схватить для него 25 рублей авансом».

Получив деньги, Куприн тут же приобрел себе... новые ботинки.

«Сколько раз, сколько лет и какой бешеной скороговоркой кричал он во хмелю впоследствии, – вспоминает Бунин:

– Никогда не прощу тебе, как ты смел мне благодетельствовать, обувать меня, нищего, босого!»⁵⁴

⁵² И.А. Бунин – Ю.А. Бунину. 1 марта 1899 года. В кн.: Бунин И.А. Письма 1885–1904 годов. Цит. по электронной версии в Библиотеке М. Мошкова:

http://az.lib.ru/b/bunin_i_a/text_1904_letters.shtml Письмо № 339.

⁵³ Л. К. Федорова. А.П. Чехов // Лит. наследство. Т. 68. М.: Изд-во АН СССР, 1960. С. 630. (Далее – Л.К. Федорова. А.П. Чехов.)

⁵⁴ И.А. Бунин. Куприн // Публицистика 1918–1953 годов. М.: Наследие, 1998. С. 422.

Бунин рассказал о случае, имевшем место не позднее 1899 года. Лидия Карловна – историю 1901 года. Чтобы не выяснять, кто именно – Федоров или Бунин обул Куприна, а также избежать подозрений в обращении к одному и тому же, расхожему в их кругу анекдоту, я бы сказал, что Одесса исправно обувала дорогого гостя и, может быть, даже не один раз. Но рассказ Лидии Карловны интересен для нас еще по одной причине – из реплики Куприна мы узнаем об успешной постановке федоровской пьесы «Бурелом» в санкт-петербургском Александринском театре, видимо, принесшей автору солидный гонорар – он стал «богатым как Крез».

«Бурелом» – взлет и провал драматурга

Постановка комедии в пяти действиях «Бурелом» ведущим театром России – санкт-петербургским Александринским – стала одним из самых значительных событий в творческой биографии писателя. Премьера состоялась в сентябре 1900 года и вызвала фурор.

Федоров прекрасно знал материал, с которым работал, пьеса вышла живой и веселой. «Бурелом» – история молодого провинциала Бориса Тюменева, привезшего в Петербург для постановки свою пьесу. Среда, в которой он оказывается, родная для Федорова: артисты, газетчики, писатели. Это, образно говоря, и есть бурелом, побитые жизнью тщеславные приспособленцы и лицемеры. Как и герой повести «Что его ждет?» Александр Неручев, Тюменев оставляет дома влюбленную в него девушку, а в столице находит новый предмет обожания – актрису Нильскую. Она должна получить в его пьесе центральную роль.

Видавщие виды петербургские театралы встретили «Бурелом» восторженно. На премьере автора начали вызывать на сцену уже после второго акта. «Биржевые ведомости» от 27 сентября 1900 года написали о пьесе как об остроумной, оригинальной и написанной при этом со вкусом, называя ее одной из наиболее удачных в текущем театральном сезоне.

Шумиха была поддержана небольшим скандалом. 13 ноября петербургская газета «Россия» публикует возмущенное письмо из Одессы от студента Новороссийского университета А. Лонгинова. Студент обвиняет драматурга в том, что тот представляет одесское студенчество как продажное. По какой причине?! Персонаж «Бурелома» – актриса Нильская жертвует пять тысяч рублей в пользу бедных студентов, по мнению Лонгинова, не из-за сострадания к ним, а с тем чтобы те с еще большим чувством аплодировали во время ее выступлений. Наши одесские студенты за деньги не аплодируют, утверждает жалобщик. Редакция «России» ответила господину Лонгинову объяснением, что-де в неприглядном свете Федоров представляет не студентов, а актрису, поэтому у них нет оснований для жалоб на него. Автор ответа добавляет, что в Петербурге тоже много студентов, однако они не принимают сатирические стрелы Федорова на свой счет.

Трудно удержаться от предположения, что за жалобой одесского школяра, высосанной, что называется, из пальца, могло быть самое веселое перо России – Влас Дорошевич. В 1900-м он сотрудничал и с петербургской «Россией» и с «Одесским листком».

Легко представить, как был окрылен Александр Митрофанович этим успехом, с какой надеждой на него смотрел театр. Этот успех тем более сладостен после психологически тяжелого предшествующего года. Следом за «Буреломом» Александринский взял его вторую пьесу «Старый дом». К этому времени она уже была опубликована в 10-м номере журнала «Жизнь» за 1900 год и отзывы о ней были самые благоприятные, в том числе и от Чехова. В письме Федорову от 25 марта 1901 г. Антон Павлович пишет:

«...Что касается пьесы, то она мне очень понравилась и, по-моему, будет иметь солидный успех. Вы талантливый человек, и это уже не должно подлежать ни малейшему сомнению. Нам бы повидаться, чтобы поговорить, в письме же не напишешь всего, да и не сумеешь изложить свое мнение вкратце. Давайте повидаемся хоть осенью в Москве или в

Петербурге, там поговорим обстоятельно. Пока укажу на два пункта: 1) лица у Вас не новы, трактуются без малейшей потуги на оригинальность; например, нянька. 2) Чувствуется сильное пристрастие к эффектам, эффект опережает мысль, и порой кажется, что сначала автор придумал эффекты, а около них потом уже стал лепить мало-помалу и пьесу. Первое, как мне кажется, есть продукт скорописания, второе же со временем само угаснет мало-помалу. Ну, да что, в письме всего не скажешь, не поместится всё то, что хотелось бы сказать. Подождем осени <...>»⁵⁵

Но осенью начинающего драматурга ждал удар. Лидия Карловна вспоминала:

«Пьеса успеха не имела. Совершенно потрясенный провалом, Федоров был у Чехова, о чем написал мне: “А.П. с тонкой деликатностью, сидя со мной бок о бок на диване, стал рассказывать о провалах своих пьес и этим отождествлением своих былых авторских переживаний с моим облегчил мне горе больше, чем каким бы то ни было утешением”»⁵⁶.

Попробуем разобраться сами – в чем была причина провала и о каких эффектах говорит Чехов в своем первом письме о пьесе? Критики пишут, что в некоторых сценах зрители постоянно слышат звуки реальной жизни: скребущуюся где-то мышь, доносящийся в открытые окна лай собак, скрип калитки, звон бубенцов, детские голоса, пение деревенской сумасшедшей. Эти «эффекты» Федоров якобы заимствует у западных драматургов, при этом излишне много. Но стоит ли возлагать на эти эффекты главную ответственность за провал? Вряд ли. Скорее проблема в том, что сюжет не нов, как и «лица», о которых говорит Чехов. Супружеская чета владельцев поместья – Владимир Львович и Инна Дмитриевна Палаузовы возвращаются в свой старый дом, где их встречает молодой и энергичный управляющий – Пармен Петрович Силуянов. Последний – человек образованный, энергичный и предприимчивый, организует помощь пострадавшим от голода крестьянам. Владимир Львович – его противоположность, его безостановочно одолевает одна мысль – о характере отношений с управляющим, а точнее с миром старых социальных связей. Силуянов влюбляется в Инну Дмитриевну и сознается в этом, после чего вынужден покинуть поместье со своей законной женой. Конечно, для исследователя творчества Федорова пьеса «Старый дом» интересна тем, что по сути она явилась предшественницей романа «Земля», герой которого тоже не мог простить своему соученику и коллеге, что предки того торговали такими, как он, как товаром. Но современники Федорова увидели в «Старом доме» другое – весьма банальную историю любви, еще одну мелодраму. Чехов, впрочем, считал, что пьесу можно было спасти. Для этого надо было отдать ее Немировичу-Данченко в Московский Художественный театр.

«В Художественном театре пьеса ваша имела бы успех, как я вам предсказывал»⁵⁷. Вдохновленный поддержкой Чехова, Федоров отправил ему для ознакомления следующую пьесу – «Стихия» и попросил без обиняков:

«Как прочтете “Стихию”, передайте ее Владимиру Ивановичу Немировичу-Данченко. Может быть, хоть с этой повезет в Художественном театре»⁵⁸.

Чехов выполнил обе просьбы – прочел и передал.

В ответном письме Федорову он говорит: «Стихия» произвела на меня сильное впечатление. Это интересная, совсем новая, живая вещь, делающая честь Вашему таланту. Пожалуй, это лучшая Ваша пьеса»⁵⁹.

⁵⁵ А.П. Чехов. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Письма: В 12 т. АН СССР. Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. – М.: Наука, 1974–1983. (Далее ПСС.) Т. 9. Письма, 1900 – март 1901. М.: Наука, 1980. С. 235–236.

⁵⁶ Л.К. Федорова. А.П. Чехов. С. 636.

⁵⁷ Там же.

⁵⁸ А.П. Чехов. ПСС. Т. 11. Письма, июль – декабрь 1903. – М.: Наука, 1982. – С. 63.

Отзыв искренен. В письме О.Л. Книпер Чехов сообщает: «Получил от Федорова том пьес. Между прочим, «Стихия». Мне сия пьеса нравится, она в миллион раз талантливее всего Тимковского»⁶⁰.

Николай Тимковский – еще один забытый прозаик и драматург, о творчестве которого его современник В.Г. Короленко отзывался так: «Нельзя сказать, чтобы его литературная физиономия выделялась особенной яркостью...»⁶¹

Ознакомившись со «Стихией» Немирович-Данченко отвечает автору:

«Многоуважаемый Александр Митрофанович! Опять я задержал ответ! Пьесу прочел давно, а вот теперь скрылся на несколько дней из Москвы и просмотрел ее вторично.

Я волей-неволей должен быть вполне откровенен. И начинаю с похвал вовсе не для того, чтобы золотить пилюлю.

В пьесе очень много таланта, очень много поэзии, очень много юмора. Много читаете с большим удовольствием. Но все время досажаете, что Вы так сильно отделились влиянию той и_с_к_у_с_т_в_е_н_н_о_с_т_и, которая убивает на нашей сцене значительную часть Ибсена, Метерлинка, Бьернсона (“Zaboremus”). “Э_л_л_и_д_а” и “Z_a_b_o_g_e_m_u_s” так прошли по всей Вашей пьесе, что от беспрестанного воспоминания о них нет возможности отделаться. Я бы изумился совпадению, если бы услышал от Вас, что ни этой, ни другой пьесы Вы даже не знаете.

<...>

Позвольте мне дать прочесть пьесу товарищам и самому еще подумать над ней.

Крепко жму Вашу руку.

Вл. Немирович-Данченко»⁶².

В конечном итоге «Стихия» в репертуар Художественного не попала. Она вошла в сборник с другими пьесами Федорова: «Обыкновенная женщина», «Старый дом» и «Бурелом». Он появился в Санкт-Петербурге в феврале 1903 года.

Федоров продолжал писать пьесы, регулярно появлявшиеся в петербургских журналах, но так и не попадавшие на сцену. В 1905 г. «На пароходе», в 1909 комедию «Мадам Давид» и драму «Брат», в 1910 г. «Мщение», эпизод из жизни Бенвенуто Челлини в стихах, в 1912 г. «Любите жизнь». Еще одна пьеса – «Камни» стала сценической адаптацией одноименного романа. Пьеса «Стихия», наоборот, через 13 лет после дебюта трансформировалась в большую повесть «Море». Подводя итоги своей творческой деятельности, Александр Митрофанович назвал 8 принадлежащих ему больших пьес и 6 одноактных. В одном из послевоенных писем невестке в Бухарест он упоминал свою пьесу, переведенную на румынский язык. Надежда вернуться в театр не оставляла его до конца дней. Причем не только в качестве драматурга. В оставленном им архиве есть сценарий балета.

Из воспоминаний Лидии Карловны видно, с каким сочувствием и симпатией Антон Павлович отнесся к одесскому коллеге, но это не мешало ему видеть особенности характера

⁵⁹ Там же.

⁶⁰ Там же. С. 158-159.

⁶¹ В.Г. Короленко. ПСС. Изд. А.Ф. Тов-ва Маркс в Петрограде, Т.9. Цитируется по публикации в электронной Библиотеке М. Мошкова:

http://az.lib.ru/k/korolenko_w_g/text_1904_timkovsky_olderfo.shtml

⁶² Письма Вл. И. Немировича-Данченко к А.М. Федорову // Встречи с прошлым. Выпуск I. М.: Советская Россия, 1983. Цитируется по публикации в электронной Библиотеке М. Мошкова:

http://az.lib.ru/n/nemirowichdanchenko_wladimir_iwanowich/text_1908_pisma_k_fedorovu.shtml

Федорова. Лидия Карловна в свой рассказ о встрече с Чеховым включает историю о том, как они всей семьей пошли провожать Антона Павловича на пароход и поднялись на его палубу. В это же время на судно грузили животных цирка Дурова, и сын Федоровых – Витя, понятно, был в восторге от этого зрелища. И Антон Павлович веселился вместе с 3-летним мальчиком. До того, как эти проводы описала Лидия Карловна, их описал и Александр Митрофанович в очерке «А.П. Чехов». Он появился в сборнике 1910 года «Чехов: воспоминания и статьи», а еще через год вошел во второй том семитомного собрания сочинений Федорова. Истории мужа и жены настолько совпадают в деталях, что Лидию Карловну можно заподозрить в плагиате. Например, в описании сцены, когда Чехов и Лидия Карловна бросились к борту, опасаясь, что ее трехлетний сын Витя упадет в море.

У Александра Митрофановича:

«– Боитесь, чтобы он в море не упал? – обратился к ней Чехов.

– Да.

– А если бы упал?

– Я бы бросилась за ним.

– И я бы тоже бросился, – тихо и спокойно заметил Антон Павлович...»⁶³

У Лидии Карловны:

«– Ну, а если бы, – обратился А.П. ко мне, – сын ваш упал бы в воду, что бы вы сделали?

– Я бросилась бы за ним.

– А плавать умеете?

– Нет, – покраснев, созналась я.

– Я и то бросился бы, – тихим низким голосом проговорил А.П.»⁶⁴

Но есть и третья версия проводов живого классика. Вера Муромцева-Бунина вспомнила ее по пересказу мужа в своих мемуарах:

«Однажды, провожая на пароходе Чехова, он (*Федоров – В.Я.*) так надоел ему своим Витей, что Чехов жаловался Ивану Алексеевичу: «Хотелось смотреть, как работает лебедка, поднимая на пароход корову, а он бубнил: “Мой мальчик, посмотрите, как он...” и так далее...»⁶⁵

Над этим «моим мальчиком» посмеивались многие и при жизни Александра Митрофановича и после:

«Мой мальчик прирожденный живописец! – восклицал за обедом Димин папа своим адвокатским альтом – сладким и убедительным...»⁶⁶

Лиза Дитерихс, Анна Горенко

В 1900-м мир, кажется, вернулся в семью Федоровых. Александр Митрофанович продолжал активно печататься в периодике, в 1900 вышел книгой роман «Степь сказала», в 1901-м двумя отдельными книгами в московском издательстве С.Ф. Рассохина, специализировавшемся на публикации пьес, «Бурелом» и «Старый дом».

1902 был отдан путешествиям. Семья в полном составе отправляется на два месяца в Италию. В Риме их экскурсоводом становится одесский журналист Владимир Жаботинский – протеже Федорова. Новые впечатления преумножают творческие силы и без того

⁶³ А.М. Федоров. Утро // Собрание сочинений в 7 т. М.: Н.Н. Клочков, 1911. Т.2. С. 211.

⁶⁴ Л.К. Федорова. А.П. Чехов. С. 632.

⁶⁵ Вера Муромцева-Бунина. Жизнь Бунина. С. 174.

⁶⁶ В. Катаев. Избранное. С. 35.

производительного автора. В июне-июле «Одесские новости» публикуют серию путевых очерков своего корреспондента: «Средиземное море», «Суэцкий канал», «Аденский залив», «Индийский океан», «Со стороны Цейлона». Из них следует, что Александр Митрофанович посещает Турцию, Грецию, Египет, Индию, Китай, Японию. Он возвращается домой на поезде из Владивостока, переполненный впечатлениями. Куприн в письмах Чехову не без иронии сообщает, что Федоров всем только и рассказывает, как в путешествиях его «трепал тайфун» и как он «лежал в дрейфе».

Творческие результаты года: в первом номере журнала «Русское богатство» за 1903 год выходит новый роман «Земля», в 1904-м году – книга написанных в дороге очерков «На восток», к 1911 году том «Сонеты» с подзаголовком «Египет – Палестина – Океан – Индия – Берега – Жизнь и смерть» – поэтические зарисовки из той же поездки.

Но всплеск семейной радости и творческого подъема сменяется спадом. В лирике Федорова все чаще и настойчивее звучит тема семейной несвободы:

В глухую ночь, тропой знакомой,
Сошел я на берег морской.
Меня давили стены дома
И их удушливый покой;

И на челнок, вчера прибитый
К земле стихиею шальной,
Я сел, как он, полуразбитый,
Как он, обманутый волной.

Здесь ночь была еще печальней,
Еще тоскливей тишина.
Тень заколоченной купальни
Качала мертвенно волна,

И черной траурной каймою
Песка касалась, шурша...
Я зарыдал, объятый тьмою,
И в мире ни одна душа
Меня не слышала⁶⁷.

Картина побережья со спускающейся к каменистому пляжу тропой, купальня, лодки, море – не фантазия поэта, это очень точное описание местности в районе его дачи – столь же знаковое для старой Одессы, как Потемкинская лестница или Оперный.

Современники оставили нам воспоминания о двух пассиях Александра Митрофановича этого времени.

В дневнике за 1903 года Бунин делает очень лаконичную запись: «1 Янв., Чехов: “Бунин и Найденов в Одессе. Их там на руках носят”. Мы с Н. жили в “Крымск<ой> гост<инице>” – Федоров и Лиза Дитерихс».

Тире между названием гостиницы и именами Федорова и его спутницы производит тот же эффект, что и отсутствие запятой в знаменитой фразе «казнить нельзя помиловать». Действительно ли Бунин видел Федорова с дамой в гостинице «Крымская», где он поселился со знаменитым автором «Детей Ванюшина»?

⁶⁷ А.М. Федоров. Мой путь. С. 83.

Вера Муромцева-Бунина в «Жизни Бунина» дает частичное разъяснение дневниковой записи мужа:

«У Федорова в это время был роман с очень молоденькой Лизой Д. <...> Лиза была худенькой нервной барышней, без памяти влюбившейся в писателя. Ничего серьезного между ними не было, но в юности все кажется серьезным, драматичным. И она, приревновав его, решила покончить с собой; бросилась с моста, но, к счастью, зацепилась за что-то юбкой и была спасена. Все знавшие ее взволновались: дело сумели замять и огласки оно не получило»⁶⁸.

Теперь, надеюсь, понятен вопрос о тире. Если встреча произошла в гостинице, то, наверное, заявление о том, что «ничего серьезного между ними не было», можно поставить под сомнение. Да, но кто она – эта худенькая и нервная барышня?

Елизавета Дитерихс – дочь гласного городской думы (*депутата с правом голоса – В.Я.*) и мирового судьи Александра Михайловича Дитерихса и правнучка сподвижника Ришелье военного инженера Карла Дитерихса. Дитерихсы принадлежали к городской знати. Поэтому несложно представить, как непросто было замять историю с попыткой самоубийства именитой девицы. Именитой она была и еще по одной причине. Елизавета Дитерихс – автор слов популярного по сей день романса:

Снился мне сад в подвенечном уборе,
В этом саду мы с тобою вдвоём.
Звёзды на небе, звёзды на море,
Звёзды и в сердце моём.

Листьев ли шепот иль ветра порывы
Чуткой душою я жадно ловлю.
Взоры глубоки, уста молчаливы:
Милый, о милый, люблю.

Тени ночные плывут на просторе,
Счастье и радость разлиты кругом.
Звёзды на небе, звёзды на море,
Звёзды и в сердце моём.

Звезды, море, сады – все это в таком обилии присутствует в поэзии самого Федорова, что неудивительно обнаружить их отражение в стихах влюбленной в него юной поэтессы. И кто еще, если не они – юные поэтессы – должны были первыми попадать в сети 35-летнего красавца-поэта, чьи стихи печатались в самых авторитетных журналах России?

История с Лизой Дитерихс имела место в 1903 году. В 1904 году в те же сети попала 15-летняя Анна Горенко. Она родилась на 11-й станции Большого Фонтана в 1889 году, годовалой ее увезли в Царское Село, но Анна еще несколько раз возвращалась в Одессу. С Федоровым она встретилась в первое же возвращение в 1904 году. Проще всего представить, что их познакомила крестная Ани – Мария Федоровна Вельцер. Она же была крестной Вити Федорова.

Влюбленная Аня посвящает Федорову по крайней мере три стихотворения. Вот первое из них:

Над черною бездной с тобою я шла,

⁶⁸ Вера Муромцева-Бунина. Жизнь Бунина. С. 219.

Мерцая, зарницы сверкали.
В тот вечер я клад неоценный нашла
В загадочно-трепетной дали.
И песня любви нашей чистой была,
Прозрачнее лунного света,
А черная бездна, проснувшись, ждала
В молчании страсти обета.
Ты нежно-тревожно меня целовал,
Сверкающей грезой полный,
Над бездною ветер, шумя, завывал...
И крест над могилой забытой стоял,
Белея, как призрак безмолвный ⁶⁹.

Стихотворение датировано 22 июня 1904 года. Летом того же года Александр Митрофанович пишет о своем новом увлечении, правда, кому адресовано его произведение, мы не знаем. Ане? Или это еще воспоминание о Лизе?

Мы были на побережье возле скал.
Нас обвевал веселый ветер южный.
Под шорох волн, таинственный и дружный,
Всю жизнь мою тебе я рассказал.

У волн в песке гурьбой развились дети,
Звенели крики, смех, и голоса,
И ясно улыбались небеса
На этот шум, счастливейший на свете.

Ты ласково спокойных умных глаз
От моего лица не отводила,
И руку ты в моей руке забыла,
И слушала безмолвно мой рассказ.

Все, что тогда в твоём я встретил взоре,
Мне не забыть... и первый день весны,
И шум детей, и пение волны,
И счастье, открытое, как море ⁷⁰.

Не менее года носила Анна любовь к одесскому ловеласу в своем сердце, и в 1905-м завершила еще одно, посвященное ему, стихотворение:

О, молчи! от волнующих страстных речей
Я в огне и дрожу,
И испуганно нежных очей,
Я с тебя не свожу.

О, молчи! в сердце юном моем

⁶⁹ А. Ахматова. Собрание сочинений в 6 т. М.: Эллис Лак. 1998. Т 1. С.6.

⁷⁰ А.М. Федоров. Мой путь. С. 109.

Пробудил что-то странное ты.
Жизнь мне кажется дивным загадочным сном
Где лобзанья-цветы

Отчего ты так нагнулся ко мне,
Что во взоре моем ты прочел,
Отчего я дрожу? отчего я в огне?
Уходи! О, зачем ты пришел.
1904-1905⁷¹

Эти романы уже не вызвали в доме Федоровых того кризиса, который потряс его менее пяти лет назад. Может быть, к этому времени Лидия Карловна действительно выработала или начала вырабатывать способность смотреть на увлечения мужа как на неизбежность. Что до Анны, то и она успокоилась, поделившись с царскосельским другом Сергеем Штейном впечатлением, которое исправно цитируется при всяком воспоминании о ее одесском кавалере: «Летом Федоров опять целовал меня, клялся, что любит, и от него опять пахло обедом»⁷².

Что тут сказать? Федоров, конечно, не был бестелесным ангелом. Ничто человеческое не было чуждо ему. Включая запахи застолий, которыми славился его дом.

Роман этот не был последним. Еще один, длившийся не менее полугода на глазах у жены и друзей, возможно даже стал истинной причиной разрыва Александра Митрофановича и Лидии Карловны, но до него еще было добрых десять лет. А пока Александр Митрофанович продолжал много работать, Лидия Карловна помогала ему. Он надиктовывал, она печатала на машинке. Помимо этого она начала писать сама. Из переписки с Буниным мы узнаем, что супруги пытаются опубликовать в столичном журнале ее пьесу «Усадьба Хризанфовых». Безуспешно.

Это литературное предприятие дает еще один повод для догадок. Бывшая театральная актриса решила вернуться к любимому делу в качестве драматурга – через 14 лет после ухода из театра? Или же Лидия Карловна начала искать – на всякий случай – источник собственного дохода?

Одесские романы А. М. Федорова

Действие трех романов Федорова «Природа», «Подвиг» и «Его глаза» – разворачивается в Одессе. Первый и третий написаны с натуры, и автор даже не озаботился тем, чтобы замаскировать прототипы своих персонажей, хотя они были людьми из его ближайшего окружения. И у них были все основания обидеться на автора за то, в какие литературные ситуации он поставил их без их согласия. Кажется даже, наоборот, Федоров считал, что им это должно нравиться. Еще бы, ведь он вводил их в историю! И действительно, кто еще сохранил нам портреты одесских художников начала XX века?

Для нас эти романы интересны еще и тем, что, будучи отчаянными мелодрамами с непременными летальными финалами, они помогают понять характер автора и объясняют ироничное отношение к нему его приятелей.

«Природа» был впервые опубликована в Санкт-Петербургском журнале «Мир Божий» в 1904 году, а в 1906 издана книгой Санкт-Петербургским отделением издательства С.

⁷¹ А. Ахматова. Собрание сочинений в 6 т. Т 1. С. 7.

⁷² А. Ахматова. Письмо Сергею Штейну. Цит. по: Анна Божко. И снова об Анне Ахматовой // Вечерняя Одесса. № 90. 23 июня 2009 г.

Скирмунта. Время было революционное, за событиями 1905 года последовала реакция. «Мир Божий» был закрыт властями в 1906 году, а его редактор Ф. Д. Батюшков привлечен к суду. В том же году был закрыт еще один либеральный журнал – «Русское богатство», где тремя годами ранее дебютировал роман Федорова «Земля». Скирмунта также привлекли к ответственности за антиправительственную пропаганду, приговорили к ссылке и крепости. По этой причине в 1907 году он бежал за границу, где оставался два десятка лет.

Написанный в предреволюционную пору роман «Природа» к революции отношения не имеет. Но его можно назвать романом о тех сдвигах в общественном сознании, которые обычно совпадают с преобразованиями в политической сфере. По словам писателя Владимира Жаботинского, который именно с помощью Федорова стал профессиональным газетчиком, всё в то время – а речь о первом десятилетии XX века – преломлялось через призму освобождения. Это освобождение могло толковаться как угодно широко. Кто-то освобождался от ненавистной политической системы, а кто-то от гнета традиционной семьи. Все три одесских романа Федорова являются любовными драмами, что позволяет нам сказать, что тема свободной любви беспокоила Александра Митрофановича куда больше темы классовых отношений. Лишь в «Подвиге» личная драма разворачивается на фоне социального потрясения, поэтому и разговор об этом романе отдельный.

Герои «Природы» – участники реально существовавшего Товарищества южно-русских художников, группировавшиеся вокруг корифея местной школы живописи Кириака Костанди. Местом сбора компании служит дом одного из главных героев – портретиста Бориса Ветвицкого. Его прототип – Евгений Буковецкий – высокий, худощавый, русоволосый с острокопченной бородкой, действительно постоянно устраивал в своем особняке на Княжеской, 27 мальчишники для коллег, вошедшие в местную историю как Четверги Буковецкого.

Уставший от жизни 34-летний Ветвицкий собирается, в поисках покоя и ласки, жениться на сестре товарища – 19-летней Ирине. В это время в городе появляется скульптор Лосьев. Он только что вернулся из Парижа, где работал в мастерской Родена. Он влюбляется в Ирину, что не мешает ему закрутить роман со своей натурщицей Уникой. На самом деле ее зовут Аня, но дивная фигура и вокальные данные делают ее уникальной. Равно как и страшное клеймо в виде буквы «Г» на руке, оставшееся на память о бывшем женихе-моряке. Страстная близость с Уникой не мешает Лосьеву думать об Ирине. На художественной выставке – центральном событии романа, которое предваряет трагическую развязку, Ветвицкий демонстрирует портрет юной жены, а Лосьев – скульптуру женщины с прекрасным телом Уники и лицом Ирины. Ее ноги опутывает спрут с лицом Ветвицкого. Какой скандал!

Ближе к финалу Ирина изменяет мужу с Лосьевым, Уника умирает во время родов, а Ветвицкий убивает Лосьева на дуэли. Ирина остается с нелюбимым мужем и чужим ребенком на своих, еще молодых, руках.

На протяжении всего романа персонажи много говорят о том, что настоящий художник близок по своему духу дикой природе, а не настоящий – нет.

«Природа – единственный источник всякого творчества! Художник должен сливаться с ней, как с женщиной, и вместе с ней творить ее подобие», – декларирует Лосьев незадолго до ухода из жизни. Брак для такого человека, ясное дело, анафема.

Лосьев, натворивший столько бед со своим приездом в Одессу, тоже, видимо, списан с натуры. А именно с одесского скульптора Бориса Васильевича Эдуардса. Фамилией тот был обязан отцу-англичанину, коммерсанту, осевшему в Одессе на ПМЖ в середине 19 века. Эдуардс навсегда вошел в историю города, оставив ему один из его символов – скульптуру Амура с Психеей в сквере Пале-Рояль. Здесь же когда-то располагались магазины его отца. Эдуардс окончил Императорскую Академию Художеств в Санкт-Петербурге. Как и Лосьев,

бывал в Париже (он – участник всемирной Парижской выставки 1900 года), работал на литейных производствах во Франции и в Италии, оставил после себя не менее полудюжины значительных памятников, правда ушел из жизни без посторонней помощи и не в Одессе, а на острове Мальта в 1924 году. Он оказался там осенью 1919 года в группе беженцев, вывезенных из Одессы на английском корабле. Измученный постоянными приступами малярии, стенокардией, нищетой и тяжелой работой, он ушел из жизни в возрасте 64 лет. В оставленных им дневниках он сообщает о письме Федорова – о бедственном положении в любимой им Одессе, которое ему переслал из Парижа их общий друг Нилус. Горькие записи Эдуардса эхом повторяют аналогичные Федорова, написанные спустя много лет в эмиграции: «Настроение отвратительное, чувство сиротства до того съедает, что сегодня я даже плакал – так нервы расстроились»⁷³.

Роман вызвал скандал в одесском высшем обществе, видимо, приоткрыв завесу над амурными похождениями известных горожан. Федоров был мастером писать с натуры.

Очень интересен один проходной персонаж – появляющийся на выставке безымянный критик. Он описан с той нежной любовью, с какой Александр Митрофанович мог описать только самого себя.

«Появился рецензент другой газеты, старик с изысканными манерами и благородными аристократическими чертами, которым его совершенно седые слегка вьющиеся волосы придавали артистический вид. Он был не присяжный газетчик, а дилетант-художник, страстный любитель живописи, тонко чувствующий ее поэзию и волновавшийся до слез умиления при взгляде на истинно художественные проблески.

<...>

Некоторые художники просто подошли к нему, как к своему собрату, не боясь быть дурно понятыми. Он радостно, ласково жал им руки, нетерпеливо поглядывая на картины, и, наконец не выдержав, сказал:

– Извините, господа, я, как старая боевая лошадь при звуках музыки, не могу стоять спокойно при виде этих красок.

Он изысканным движением снял с лацкана сюртука роговое пенсне на широкой черной ленте и, тщательно одев его на красивый прямой нос и увидев издали картину Цветаева, висевшую на видном месте, воскликнул:

– Узнаю его, дорогого! Узнаю!

Он, слегка выгнув спину, направлялся к полотну на сухих легких ногах и замер на минуту перед картиной.

– Эта улыбка природы, грустная улыбка вечера, такая же кроткая и тихая, как душа самого творца, – меланхолически затянул он.

<...>

– Где он? Дайте мне его обнять за эту высокую радость! – восторженно, с пафосом говорил старик.

Художники, зная витиеватость его языка, каким он и писал свои длинные дилетантские статьи, добродушно улыбались. Увидев Цветаева, сидевшего на том же диванчике, он рванулся к нему, издали вытянув руки, остановившись перед ним, сбросил пенсне и со слезами на глазах стал целовать смущенно улыбавшегося»⁷⁴.

Цветаев – литературная инкарнация Костанди. В романе его фамилия – говорящая, современники считали его выдающимся колористом.

⁷³ Возрожденная рукопись. Публ. А. Маниовича // Дерибасовская-Ришельевская: Альманах. Вып. 41. С. 185. Одесса, 2010.

⁷⁴ Цитируется по электронной версии романа в библиотеке Мошкова:

http://az.lib.ru/f/fedorow_a_m/text_1904_priroda.shtml

Сюжет романа «Его глаза», увидевшего свет в 1913 году, стартует за тем же художественно-литературным застольем, что и «Природа». Главный герой – Стрельников является на пирушку с рыжеволосой Ларочкой – дочерью сельского священника. Она приехала в город из того же села, где родился сам Стрельников. Художники принимают ее с восторгом, а двое членов сообщества влюбляются в нее – сам Стрельников и писатель Дружинин. Вот каким его видит Стрельников:

«Писатель стоял спиной к окну, опершись обеими ладонями на подоконник, и вся его небольшая, изящная фигура, в сером костюме, замерла в свойственном ему изысканному и свободному спокойствию. Перед глазами Стрельникова вычерчивался профиль его бледного, несколько болезненного лица, с подстриженными, как и у Стрельникова, усами»⁷⁵.

Это еще один автопортрет Федорова.

Свободный, мудрый и благополучный писатель, живет с престарелой матерью в восьмикомнатном особняке на Соборной площади. О таком женихе залетная провинциалка может только мечтать! Но судьба бросает ее в объятия Стрельникова. О том можно только сказать, что это – парень-33 несчастья. Сняв в свое время студию у некрасивой и злой вдовы с двумя детьми, он как-то сошелся с ней, и она родила ему девочку Мусю. Мусенька до трех лет не говорила и не ходила, а потом умерла. Смерть ребенка, совпавшая с появлением в жизни Стрельникова Ларочки, освободила его ото всяких обязательств перед постылой сожительницей. Но когда он собрался оставить ее, та плеснула ему в глаза кислоту, обезобразив и ослепив его. Ларочка первоначально решила жертвенно соединить свою жизнь с жизнью бедолаги, но скоро стала тяготиться своим выбором. А поскольку бросить его, беспомощного, ей казалось преступным, она нашла выход: отравиться обоим. При этом каждый должен был расстаться с жизнью у себя, чтобы в последний момент, испугавшись страдания, не передумать. Логика странная, но чего не сочинит женщина в таком тяжелом эмоциональном состоянии? Сказано – сделано: Ларочка снабдила Стрельникова ядом, но любящая мать последнего открыла заговор и убедила сына в том, что подлая подруга просто решила избавиться от него. Сын был спасен, а Ларочка все же отравилась. И умирала мучительно – для читателя – долго. Вообще весь роман затянут донельзя, и, пробиваясь через бесконечные разговоры героев о смысле жизни, их ссоры, споры и выступления в суде, вспоминается реакция Бунина на просьбу Федорова отозваться о его новом произведении:

«Я было начал читать корректуру, хотел отметить, что мне не по душе, да бросил – побоялся, что ты обидишься, хотя ведь понимаешь же ты, что позволяю себе говорить тебе не как “редактор”, а как друг твой...»⁷⁶

Подчеркнем, эта реплика не относилась к корректуре романа «Его глаза», речь об общем отношении Бунина к творчеству Федорова. Обычная редактура работает далеко не всегда. Некоторые тексты нужно либо переписывать наново, либо публиковать в первозданном виде – есть читатели, которые переваривают все.

Не все, но многие романы Федорова остро нуждаются в редактуре, но если хорошего редактора у них не нашлось сразу, то теперь ему, кажется, и подавно взяться неоткуда. Да и зачем? Даже в махровом мелодраматизме, вкусовых сбоях и ничем не оправданных длиннотах федоровской прозы есть та ущербная привлекательность, которую можно увидеть в некоторых бездомных детях. Гигиена, хорошая одежда и здоровое питание лишат их всякого характера, хотя, с точки зрения гуманитарной, банальное здоровье безусловно ценней самой неординарной индивидуальности.

Странное дело – Федоров ни разу не назвал реальным именем город, в котором разворачивается действие его романов. Не остерегался ли он своей любовью к Одессе

⁷⁵ Там же.

⁷⁶ И.А. Бунин. Письма 1905–1919. М.: ИМЛИ РАН, 2007. С. 67.

признать в себе второстепенного, провинциального автора? Если так, то он положил начало традиции. Ильф и Петров окрестили родной город Черноморском, действие совершенно кафкианского романа Сергея Шикеры «Стень»⁷⁷ – лучшего об Одессе конца XX века – разворачивается в приморской Лидии.

Чтиво чтивом, но оба романа Федорова – передовые для своего времени в том смысле, что их можно с не очень большой натяжкой отнести к типу производственных. Их персонажи – представители одной профессии – художники. Это, конечно, можно списать на личное увлечение Федорова живописью, а можно и на то, что в русской литературе начинается большая смена приоритетов – интерес к человеку, живущему на земле, переносится на горожан. И город – неисследованный пока микрокосм всех мыслимых пороков и достоинств – обещает дать куда больше ярких персонажей, чем привычная помещичья усадьба. Рядом с Федоровым тем же занимался его приятель Куприн, описывая жизнь сталелитейщиков в «Молохе», военных в «Поединке», публичных женщин в «Яме».

Но если «Природа» и «Его глаза», со всеми их недостатками и достоинствами, – бульварное чтиво, то с «Подвигом» дело обстоит иначе. Его сюжет развивается на фоне охвативших Одессу волнений 1905 года, и перед тем как взяться за этот роман, хочется вернуться к жизни в этот период самого Александра Митрофановича.

Профессиональные хлопоты на фоне первой русской революции

1905-й год в сознании человека, хотя бы часть жизни которого пришлось на советскую эпоху, представляется, конечно, годом первой русской революции. Кровавое воскресенье, поп Гапон, восстание на броненосце «Потемкин», газета «Искра», стачки, демонстрации, разгул реакции, все это отодвигает на второй план простую мысль о том, что миллионы людей в это же самое время продолжали ходить на службу, жениться, рожать детей и даже писать стихи о любви и красотах природы. Как это было в случае с писателем Федоровым.

Хотя 1905 годом датировано не менее полудюжины «революционных» стихов Федорова, в том же году Александр Митрофанович потратил уйму времени и сил на то, чтобы найти нового издателя, более активного в книгоиздательском бизнесе и, соответственно, более щедрого по отношению к своим авторам. Добавим: над которым бы не висела постоянная опасность ареста.

К концу XIX столетия Федоров входил в число литераторов, постоянно печатавшихся в ведущей периодике России: «Русской мысли», «Мире Божьем», «Русском богатстве», «Вестнике Европы». Иначе обстояло дело с книгоиздателями. Первым стал Сергей Аполлонович Скирмунт, фанат и пропагандист европейской социал-демократии. Получив богатое наследство, он проявлял удивительную щедрость по отношению к работникам своего издательства «Труд». Они пользовались бесплатными столовыми, медицинским обслуживанием и даже оплаченным отпуском в Крыму. В его квартире укрывались находившиеся в розыске революционеры, здесь же хранилась нелегальная литература, за что Сергея Аполлоновича и привлекли в 1902 году к уголовной ответственности. Его признали виновным и сослали в Олонецкую губернию, но суровой северной красотой Онежского озера любовался он недолго. В 1904 году его амнистировали. Вернувшись в Москву, он с новыми силами подключился к борьбе с самодержавием. В конце 1905 года на расширенном заседании ЦК РСДРП под председательством В.И. Ленина А.М. Горький предложил кандидатуру Скирмунта на должность главного редактора газеты «Борьба». Сергей Аполлонович, вызвавшийся финансировать издание, был единодушно утвержден в должности. До того, как Скирмунта снова арестовали, он успел выпустить шесть номеров

⁷⁷ Волга. 2009, №№ 9-10, 11-12; <http://magazines.russ.ru/volga/2009/9/sh2.html>

газеты, причем в первый попало федоровское «Вниз по матушке по Волге». Вот интересно: получил ли Александр Митрофанович гонорар за него или же внес этой публикацией свою поэтическую лепту в общее дело? Еще три номера «Борьбы» вышли, когда Скирмунт уже находился за решеткой, причем последний содержал отчаянный вопль уцелевших членов редакции, призвавших читателей ко всеобщей политической стачке и вооруженному восстанию.

Арест издателя, конечно же, шел вразрез с планами Александра Митрофановича. Его роман «Земля» был только что издан скирмунтовским «Трудом», а выпуск следующего – «Природа» – был назначен на 1906 год. И если Федоров допускал, что следом за газетой власти вполне могли прикрыть и издательство, то он оказался прав. Издательство было закрыто, а сам Скирмунт сбежал из России, предпочтя комфорт западной Европы прелестям северной России.

Так или иначе, но Александр Митрофанович начал поиск нового издателя еще за полгода до ареста Скирмунта. Тогда он и обратился к Бунину с просьбой помочь ему пробиться в число авторов горьковского «Знания». «Знание» было издательством-мечтой. В нем печатались наиболее популярные авторы того времени: сам Горький, Леонид Андреев, Скиталец, Иван Бунин и хороший одесский знакомый Александра Митрофановича – Семен Юшкевич, чей роман «Леон Дрей» стал настоящим национальным бестселлером. К этому надо добавить налаженный сбыт книг по всей стране и высокие гонорары.

Бунин стал хлопотать за одесского друга.

25 апреля 1905 года он доложил Федорову:

«Дорогой друг, я сейчас от Горького. Читали твою книгу. Всю, конечно, не прочли, но я немного перетасовал стихи, поставил в начале то, что казалось мне получше, и когда начитались, спросил:

– Ну, теперь вы видите, что книжка будет во всяком случае недурна?

Горький ответил:

– О, да, несомненно.

– Значит, – говорю, – я могу окончательно сообщить Федорову, что книга *взята* «Знанием».

– Да, вполне можете.

Поздравляю тебя, значит, дорогой друг и крепко целую.

Вижусь с Горьким теперь каждый день и проводим время очень приятно. <...> Многое в твоей книге ему очень понравилось, а относительно того, что ему немного не нравится, он хочет написать тебе – только боится, что ты рассердишься. Я сказал ему, что это вздор.

Очень-очень плохо, что тебя здесь нет. Столковались бы, как расположить стихи, что погладить и т.д.

Печататься книга будет летом, чтобы к сентябрю выйти»⁷⁸.

Как тут не представить взволнованного Федорова, с горящим на скулах румянцем, выходящего из своего кабинета с письмом в руке: «Лида! Горький взял сборник моих стихов для “Знания”! Иван добился!»

Увы, радость была недолгой.

16 мая Горький сообщил Бунину:

«Дорогой друг! Я внимательно прочитал стихи Федорова трижды и – отказываюсь издать их.

Скучен он, однообразен, – его лучшие лирические стихи – подражание Вам. Он какой-то неуклюже громогласный, не чувствуешь искренности в нем и совершенно не понимаешь –

⁷⁸ И.А. Бунин. Письма 1905-1919 годов. С. 9.

отчего стонет человек, о чем он вздыхает? Не видно – что он любит, не ясно – о чем он мечтает.

Издать его – насиловать себя, а этого я не хочу. Вы извините меня – мне очень хотелось бы сделать приятное Вам, но в данном случае – не могу»⁷⁹.

19 мая Бунин отвечает:

«Дорогой Алексей Максимович, сейчас получил Ваше письмо и очень-очень огорчен за Федорова»⁸⁰.

Еще одна фантазия: Лидия Карловна входит в кабинет мужа. Тот сидит за столом, вид удрученный, перед ним развернутое письмо.

– Что-то случилось? – спрашивает она.

– Вот почитай, – он подвигает к ней лист бумаги. – Просто уму непостижимо.

17 июля Бунин пишет другу об очередной поездке в Москву:

«Скирмунта не видел, но очень советую тебе послать ему рукопись, чтобы книга вышла в начале осени. Горький сконфуженно извинялся за историю с тобой. А что она значит – я до сих пор не понимаю»⁸¹.

Горьковская оценка впоследствии не раз повторялась критиками, закрепив за Федоровым славу подражателя Бунина. Эта оценка несправедлива. У Бунина и у Федорова были одни и те же поэтические ориентиры – классики Золотого века русской поэзии, начиная с Пушкина и Тютчева. Недаром в числе тех, кто первым отметил талант Федорова, был Аполлон Майков. И Бунин, и Федоров считали себя продолжателями их традиции, поэтому их главной задачей было достижение высот своих предшественников. Скорее всего, это объяснялось провинциализмом обоих. Для провинции характерно более трепетное отношение к классике, чем для охочих до экспериментов столиц. И Федоров, и Бунин над этими экспериментами посмеивались, даже писали совместные пародии на новых поэтов, хотя Бунин, судя по всему, признавал культурную значимость нового литературного явления. Это подтверждает то, что такой значительный для него сборник как «Листопад» он выпустил в символистском «Скорпионе». И даже его разрыв с Брюсовым был вынужденным – первым от этой дружбы отказался Брюсов, объяснив это чисто эстетическими соображениями – стихи Бунина, по его мнению, были «вчерашним днем литературы»⁸².

Из чего следует, что к оценкам Горького или Брюсова о вторичности поэзии Федорова или Бунина не следует относиться как к истине в последней инстанции. Что действительно отличало Бунина от Федорова, это то, что Иван Алексеевич был, как теперь сказали бы, перфекционистом. Федоров был в этом плане его антиподом. Он легко находил оправдание своим недоработкам и в поэзии, и в прозе, ссылаясь на изматывавшую его газетную поденку, необходимость зарабатывать на хлеб насущный. Чехову он сообщал, что сдает рукописи с еще непросохшими чернилами. Отсюда масса стихов проходных, неряшливых, не отшлифованных, присутствие в тексте слов, придуманных самим автором, неверных ударений. И тем не менее, в этом потоке есть свои жемчужины. В последние годы жизни Федоров подвел количественные итоги своего творческого пути: шесть опубликованных в России поэтических сборников. Написано в Болгарии более 250 сонетов и около 500 стихов. Но сколько их нужно, чтобы оставить свой след в истории литературы? Десяток? Два десятка? Они у Федорова есть.

⁷⁹ А.М. Горький. ПСС. М.: Наука. 1999. Т.5. С. 49.

⁸⁰ Бунин И.А. Письма 1905-1919 годов. С. 10.

⁸¹ Там же. С.12.

⁸² В.Я. Брюсов. Аврелий: Рец. на кн.: И.А. Бунин. Новые стихотворения. М., 1902 // Новый путь. 1903. №1. С. 194.

Революционную тему в поэтическом творчестве Федорова 1905 года завершила публикация в санкт-петербургском журнале художественной сатиры «Жупел». Его создателем и редактором был художник-карикатурист Зиновий Гржебин, сумевший привлечь к сотрудничеству Горького, Бунина, Бальмонта и Куприна. В числе оформителей журнала были Серов, Билибин, Кустодиев. На обложке первого номера была помещена работа Бориса Анисфельда «Чудовище, шагающее по трупам». Жесткая черно-красная графика вызывает ассоциацию с гойевскими *пинтурас неграс*. В поэтической подборке на третьей странице первого номера: «Ормузд» И. Бунина, «Вниз по матушке по Волге» А.М. Федорова, «Мидас» С. Гусева-Оренбургского и «Притча о черте» Константина Бальмонта.

Никто из коллег не мог соревноваться с Федоровым в плакатной прямолинейности, в наибольшей степени отвечающей задачам революции.

Погибал народ безвольный,
Беззащитный, подневольный,
По темницам.
Голодал по бедным селам,
Изнывал под произволом,
По столицам.
День настал и Русь вздохнула,
Затряслась земля от гула,
Задрожала.
И распались оковы,
И исчезли злые совы,
Легче стало⁸³.

Власти закрыли журнал после выхода всего трех номеров – двух в декабре 1905 года и одного – в январе 1906 года. Деятельного Гржебина это не остановило, в том же году он создал вместе с Соломоном Копельманом издательство «Шиповник» – трибуну русского символизма. В числе первых авторов нового издательства оказался и Федоров, хотя символистом он не был. Связи творят чудеса!

В 1920 году Гржебин покинул Россию.

Революционные стихи Федорова занимают в его наследии приблизительно то же место, что и РОСТовские куплеты в творчестве Маяковского. Это – ремесленничество на заказ, демонстрация лояльности своей среде или системе. В числе первых это заметил Корней Чуковский:

«И почему г. Федоров, поэт даровитый и чуткий, рвется в ту область, где он и бессилен, и груб, и даже безграмотен...?»⁸⁴

Почему? Ответ кажется очень простым. Но перед тем как дать его, хочется процитировать письмо самого Федорова от 10 июня 1894 года. Оно было адресовано будущему секретарю Ильича – Владимиру Дмитриевичу Бонч-Бруевичу. Тот располагал собственной типографией в Москве, где в феврале того же года был напечатан первый поэтический сборник Федорова. Нам неизвестно, при каких обстоятельствах познакомились Федоров и Бонч-Бруевич, но известно, что последний посоветовал молодому автору писать стихи большей гражданской значимости. Федоров ответил:

⁸³ Жупел: Журнал художественной сатиры. СПб. 1905. №1. С.3.

⁸⁴ К. Чуковский. Революция и литература // Собр. соч.: В 15 т. М.: Изд-во «Терра-Книжный клуб», 2002. Т. 6. Литературная критика (1901–1907). С. 389.

«...Ваше доброе и понятное желание видеть во мне гражданского поэта, желание, к которому я отношусь с глубоким уважением, вряд ли когда-нибудь осуществится, не потому что я презираю этот род поэзии, совсем нет, а просто потому, что я не боец по природе, что вследствие чисто индивидуальных свойств моего скромного дарования, оно более отзывчиво к красоте в ее разнообразнейших проявлениях, чем к призывам на битву против зла и несправедливостей»⁸⁵.

Как же так? В 1894 его привлекала только красота во всех ее проявлениях, а в 1905 он, все же, вступил в битву против зла. Теперь ответ и Чуковскому, и читателю этого текста: к 1905 году Александр Митрофанович Федоров приобрел достаточную дозу профессионального цинизма, чтобы писать стихи на злобу дня, если за эти стихи платили. Как абсолютно точно подметил Александр Сергеевич Пушкин: «Не продается вдохновение, но можно рукопись продать». Революционные стихи Федорова, написанные в 1905 году, появлялись в периодике вплоть до 1917.

Тут мне вспоминается один из моих первых учителей журналистики, корреспондент одесской газеты «Морьяк» Александр Кноп, милейший человек и настоящий профессионал, он говорил: «Журналист должен быть мичуринцем. Каждое семя должно дать несколько ростков». В смысле одну и ту же статью – с разными заголовками и переставленными абзацами, следовало пристроить в несколько изданий. Александр Митрофанович тоже принадлежал к «мичуринской» школе, постоянно переливая журналистику в прозу, прозу в драматургию и драматургию в прозу, что уже говорить о возможности продать несколько раз одно и то же стихотворение – особенно когда его актуальность год от года только растет?!

Реальное отношение Федорова к революционному бунту не вписывается ни в его плакатную поэтику, ни в модную в то время марксистскую теорию классовых отношений. Когда революционный пафос перестает его «нести», Федорова словно подменяют. Совершенно другие мотивы, другая логика слышна в разговорах героев его романов. В их отношении к революции явно прослеживаются три составные.

Первая: русская аристократия отжила свое, отсюда такая безжалостность автора к умершему от тифа герою романа «Земля» Михаилу Останкову или к покончившему с собой князю-банкроту из романа «Бумажное царство». Оба были людьми во всех отношениях симпатичными, но, по мнению автора, – лишними.

Вторая: революционный порыв, героический поступок привлекателен своей эстетикой, неважно, какими будут его последствия. Об этом много говорят персонажи романа «Подвиг».

Третья: здоровый скептицизм много повидавшего на своем веку человека. Федоров, всплывший к успеху с самого дна российского общества, знал свой народ несопоставимо лучше любого теоретика марксизма. Именно поэтому его сюжетами движет не идеология, а другие, более понятные ему силы: романтическая влюбленность и похоть, жадность и властолюбие, а главное – судьба.

В производственном романе Федорова «Бумажное царство» есть одна занятная сцена. Разбогатевший сборщик ветоши Мойша Зельцер приезжает на фабрику своего партнера. Сын владельца Влас Полунин – образованный человек либеральных взглядов – делает все, чтобы усовершенствовать технологический процесс производства бумаги, сделать его менее вредным, улучшить жизнь работников. Тем не менее фабричный народ волнуется, дело идет к беспорядкам. Видя это, Зельцер замечает:

«Ну, будь они евреи, я бы понял. Еще Мойсей хорошо знал, что на этот народ ничем нельзя угодить <...> Что им нужно? Они хотели восьми часов рабочего дня, им дали здесь восьми часов рабочего дня. Ну... им дали школу и еще какие-то там ясли, чтобы матери

⁸⁵ <Федоров – Бонч-Бруевичу> / Из писем А.М. Федорова // Федоров А.М. Степь сказала. Уфа. Башкирское книжн. изд-во, 1981. С. 261.

имели где оставлять своих детеныш, а сами работать... и им дали казармы, где жить, и столовую, и баню, и потребительскую лавочку. <...> И еще построили церковь, чтобы они помнили о Боге, а они желают каких-то негодных прокламаций, где требуют того, что у них уже есть, и еще того, чего нет не только у них, но и у нас с вами»⁸⁶.

Размышления еврейского бизнесмена завершаются ссылкой на ветхозаветную историю странствий его народа в синайской пустыне. Всевышний являет одно чудо за другим, но народ ропщет на лишения и возмущается: «Есть ли Господь среди нас или нет?» На что рассердившийся Господь отвечает: «Клянусь, вы это узнаете!»

Роман «Бумажное царство» был впервые напечатан в журнале «Современный мир» в 1911 году и потом дважды издавался книгой – в 1911 и 1916 году. Я затрудняюсь назвать хотя бы одного русского автора, который в 1911 году догадывался, что деятельность преобразователей российского общества может обернуться катастрофой. Впрочем, это предсказание прозвучало даже раньше – в 1908 году – в романе «Подвиг». Но перед тем как обратиться к нему, хотелось бы сделать важное добавление к характеристике «Бумажного царства» как производственного романа. В этом, несомненно, есть натяжка, и вот почему. Действие романа происходит на производстве. Основные его герои – владельцы этого производства. Но в основе сюжета все же – обычная для Федорова любовная драма. Роману не хватает одного очень важного компонента – других участников этого производства с их отношением к своей жизни на нем.. Но для этого, видимо, мало было опыта и основанного на нем житейского прагматизма, нужна была социальная теория, которой автор пользовался бы как одним из своих инструментов. Примером такого подхода может послужить Айн Рэнд, автор романа «Атлант распрямляет плечи». Не довольствуясь существующими теориями о производственных отношениях, она создала свою, благодаря чему ее производственный роман не теряет своей актуальности по сей день.

«Подвиг»

«Подвиг» был впервые опубликован в Санкт-Петербургском журнале «Современный мир» в 1908 году – через три года после описанных в нем событий, в частности мятежа на броненосце «Потемкин» и беспорядков, охвативших в это время Одессу.

Мятеж на корабле вспыхнул 14 июня (по старому стилю), а 19 июня Федоров писал Бунину:

«Милый Иван Алексеевич, я должен написать тебе об этом событии хоть два слова. В настоящее время в Одессе стоит самый лучший броненосец “Потемкин”, команда которого (800 человек) возмутилась, частью убила, частью перевязала офицеров; завладели броненосцем и объявили себя свободными русскими гражданами. Маленькой искоркой, вызвавшей этот бунт, было убийство матроса старшим офицером за то, что матрос от лица всех товарищей пожаловался на то, что им дали борщ с гнилым мясом.

Разумеется, это только продолжение прошлогоднего матросского бунта, который, кажется охватил всю эскадру. По крайней мере, вот уже пять дней, как “Потемкин” свободно разгуливает возле берегов Одессы или стоит на рейде.

Освещенный заревом колоссального пожара, охватившего весь порт, он гордо стоял на рейде, освещая прожектором эту невероятную феерию из крови, огня и залпов.

Над трупом матроса, положенного на мол с прокламацией на груди, говорились речи. Депутация из матросов с “Потемкина” отправилась к воинскому начальнику, требуя похоронить его с соответствующим герою достоинством. Им разрешили, обещая неприкосновенность провожающих, но после похорон трое матросов были убиты казаками, а

⁸⁶ А.М. Федоров. Бумажное царство. Московское книгоиздательство, 1916. С. 155.

остальные арестованы. Тогда броненосец стал бомбардировать город, выпустив два снаряда, один из коих разбил крышу дома на Нежинской улице. Угроза подействовала: арестованных отпустили обратно. Явившаяся из Севастополя эскадра оставила им “Георгия” (броненосец) и удалилась куда-то...»⁸⁷.

Как это нередко бывает, в горячие репортажи с места событий вкрадываются неточности. Вакуленчук, например, был убит не после того, как пожаловался на несвежее мясо, а после того, как убил своего командира – лейтенанта Л. К. Неупокоева. Но эта, и другие неточности для нас несущественны. В целом история, которая сначала перекочевала в газеты, а затем в учебники советской эпохи, основывалась на записке, которая лежала на груди матроса Вакуленчука, чье тело было выставлено для прощания на Новом молу. Записка эта гласила:

«Одесситы, перед вами лежит труп зверски убитого старшим офицером броненосца “Князь Потёмкин Таврический” матроса Вакуленчука за то, что осмелился заявить, что борщ никуда не годится. Товарищи, осеним себя крестным знаменем и постоим за себя! Смерть вампирам, да здравствует свобода! Команда броненосца “Князь Потёмкин Таврический”. Один за всех и все за одного. Ура! Ура! Ура!»

Этот текст был сохранен для истории газетой «Одесские новости», где трудился Александр Митрофанович.

У Федорова было более чем достаточно времени, чтобы осмыслить события, потрясшие город и страну, а также проанализировать вызванные революцией общественные перемены. За это время он даже успел побывать в Америке, где увидел общество нового для него типа. Как это отразилось в его романе?

Симпатии старшего поколения героев «Подвига» – сверстников Федорова и людей его круга – явно не на стороне восставших. И описание революционного погрома, который переживает Одесса, не оставляет сомнений в негативном отношении к нему самого автора. «Зра», в смысле «зря», говорит простой одесский ямщик по поводу охвативших город беспорядков. Но ощущение такое, что это говорит не ямщик, а сам автор.

Дебютировав в журнале, «Подвиг» вышел в 1909 году отдельной книгой в санкт-петербургском издательстве «Общая польза».

Сюжет таков. На приморскую дачу университетского профессора Георгия Алексеевича Алексина, где тот живет с женой Анной Гавриловной и 18-летним сыном Николаем, приезжают гости – художник Сергей Александрович Верховский, его сестра – бывшая актриса Рита и ее дочь – 17-летняя Дина.

Появление Сергея Александровича – неприятная неожиданность для Анны Гавриловны. Она ждала в гости лишь подругу с дочерью. Скоро из ее разговоров с Верховским выясняется, что он – настоящий отец Николая, и приехал именно с тем, чтобы заявить свои права на сына. Пусть даже это разрушит семейное счастье Алексиных.

Ревность Верховского – по отношению к Николаю – подогревается тем, что у того замечательные, доверительные отношения с Алексиним. Парень явно вовлечен в некую тайную деятельность и профессор, не настоящий отец, поддерживает его.

Между тем лето в разгаре, дачники купаются, обедают на веранде, луна наполняет сад волшебным сиянием. Дина влюбляется в Георгия Алексеевича; Рита соблазняет Николая; подруга Дины оказывается в объятиях Сергея Александровича; Сергей Александрович терзает Анну Гавриловну разговорами о своих правах на сына; Анна Гавриловна пишет мужу письмо, в котором открывает свою страшную тайну. Сюжет достигает кульминации, когда

⁸⁷ <Федоров – Бунину> / Из писем А.М. Федорова // Федоров А.М. Степь сказала. С. 266.

либо Верховский должен сделать свое заявление, либо же Алексин узнать обо всем из письма жены.

Но взрыв происходит в другом месте, а именно в порту, на рейде которого появляется мятежный броненосец. Николай оказывается среди восставших. Сергей Александрович бросается в бурлящий город, чтобы спасти сына, туда же бросается Георгий Алексеевич. Кончается тем, что пьяная толпа сжигает порт, а Николай, не попрощавшись с семьей, уплывает на парусной лодке, чтобы присоединиться к экипажу революционного корабля. Живи А. М. Федоров на сто лет позже, быть ему сочинителем телесериалов.

В романе, который плачет по жесткой редакторской руке, есть тем не менее своя, сразу узнаваемая, «фирменная» образность Федорова, в основу которой положена одесская топография: дачная местность в 15 верстах от города – не названный им Большой Фонтан; глинистые береговые склоны; каменистые пляжи; руины водонапорной башни Ковалевского; трамвай, соединяющий дачную местность с городом; порт с его эстакадой; каменная лестница – будущая Потемкинская. Его одесская проза, пропитанная жарким солнцем, ласковым морем и сложными личными отношениями героев, вызывает неожиданную ассоциацию с другим приморским романом – «Ночь нежна» – Скотта Фицджеральда. Хотя как стилист американец, конечно, посильнее.

Но «Подвиг» не только о страстях плоти – без которых Федоров не Федоров. В этом романе автор касается вечной темы – отношений отцов и детей, выражая собственное отношение к социальным преобразованиям через своих «стариков». Алексин объясняет влюбленной в него Дине:

«Положим, положим – ужасно, невозможно жить и наслаждаться, когда рядом невежество, насилие, голод... все эти гнусные уродства. Но излечит ли кого-нибудь, насытит ли, спасет ли от нового, еще более подлого насилия ваша самоотверженность? <...> Нет, нет, говорю вам, нет!»

Свою же готовность поддержать сына, вступившего на путь борьбы с «гнусными уродствами», Алексин объясняет так:

«Приветствуя подвиг, я приветствую его не из-за его благих последствий для таких слепых, слабых, ради которых он проявился, а только из-за него самого. Из-за его великолепия. Из-за того, что он для меня – воплощение стыда за людей, *безумно (выделено мной. – В.Я.)* прекрасное стремление оправдать человечество»⁸⁸.

Это не первый случай, когда автор объясняет свое отношение к подвигу как к явлению эстетического характера. Героиня его пьесы «Обыкновенная женщина» Наташа еще за два года до бунта на «Потемкине» предвещает Алексина: «Сам подвиг важнее его последствий!»⁸⁹

Перефразируя светлейшего князя Потемкина-Таврического: «Умри, Митрофаныч, лучше не напишешь!» Эх, сколько их, либеральных интеллигентов с профессорскими должностями, приморскими дачами, женами, любовницами и прислугой бросилось в революцию из-за ее «великолепия»? Сколько перемолотых ее кровавыми жерновами барчуков повторили слова 18-летнего Николая, озирающего панораму разграбленного и сожженного пьяным сбродом одесского порта:

«Время ли теперь заниматься психологией. Тут бойня. Тут жгут... расстреливают людей. Те, – он рванул в направлении голубого луча (*луч прожектора «Потемкина» – В.Я.*),

⁸⁸ А.М. Федоров. Подвиг. СПб.: Издание Т-ва «Общественная польза», 1909. С. 104-105. (Далее – Подвиг.)

⁸⁹ А.М. Федоров. Обыкновенная женщина. СПб.: Изд. О.Н. Поповой, 1902. С. 52.

– идут, жертвуют собою. Кто смеет проклинать их... тех... что делает человека великим! <...> Только петля может остановить меня»⁹⁰.

Внутренний конфликт автора «Подвига» очевиден – с одной стороны, он выносит совершенно безжалостный приговор революции, с другой – симпатизирует свободолюбивой юности, которая эту революцию делает. Закончив роман в 1908 году, зная, какая судьба постигла бунтовщиков с «Потемкина» и других примкнувших к броненосцу кораблей Черноморского флота, Федоров завершает роман отправкой своего юного героя на парусной лодке к мятежникам. Понимая, что остановить его нельзя, он как бы провожает его со вздохом: «Ну, что ж, пусть сильнее грянет буря, я тебя предупредил...»

Описание массового психоза, вызванное в городе появлением «Потемкина», можно отнести к самым ярким и динамичным страницам федоровской прозы. Здесь, конечно, проявляется его многолетняя журналистская практика, навыки репортера, хотя утверждать, что он сам был очевидцем беспорядков в порту – 15-16 июня – мы не можем. Он мог побывать там через три-четыре дня, когда в городе был восстановлен порядок, но руины портовых сооружений еще тлели. Восстановить все по горячим, буквально, следам ему было несложно.

В день появления на городском рейде броненосца читатель оказывается вместе с рассказчиком с теми, кто устремляется по «каменной» лестнице в порт, он находится на пирсе, где лежит в палатке убитый матрос, чувствует запах его разлагающегося на солнце тела, он видит разграбление складов со спиртным, поджог пакгаузов и стоящих у причалов пароходов, пылающую на воде нефть, обугленные трупы – «цукаты», метания обезумевших людей в блокированном войсками порту.

Федоров очень точно описывает появление в толпе горожан представителей той уголовной закваски, без которой не обходится ни один бунт, ни одна революция:

«Среди рабочих и горожан тревожными пятнами мелькали фигуры, не пристававшие ни к одной из групп; как крысы сновали туда и сюда; собирались иногда в кучки, шептались о чем-то и опять рассыпались во все стороны. Одетые в рубище, с испитыми, дергающимися лицами, с развинченными движениями, беспокойно шмыгающими глазами, они казались зловещими тенями на этом пестром и ярком фоне»⁹¹.

«Под вечер все чаще и чаще на глаза попадались те зловещие тени, которые так робко сновали поутру. С закатом солнца они стали смелее, и та отравя, которою были охвачены все, сказывалась в них дикими, часто непристойными выходками, направленными, главным образом, против женщин <...>

Верховский то и дело видел оборванцев с бутылками в руках; они пили прямо из горлышка, тут же разбивали пустые бутылки о камни, и осколки стекла валялись на каждом шагу, с обрывками этикеток дорогих заграничных вин»⁹².

Федоров был, конечно, натурой увлекающейся, но, словно зная об этом своем качестве, он в конечном итоге отстранялся от собственных восторгов и с присущей настоящему репортеру наблюдательностью обозначал механизмы, которые приводили в движение историю не менее эффективно, чем модные философские течения. Это – уголовный сброд в «Подвиге», это – бродяга-поджигатель в «Земле». И он предвидел, что за подвигом последует большая кровь. Поэтому со страниц его романа часто звучит слово «безумие».

Эти колебания – от первого восторга к избранной теме рока – хорошо прослеживаются в стихах Федорова 1905-1906 годов. Одно из них звучит так, как будто его произносит в камеру уплывающий от семьи Николай:

⁹⁰ Подвиг. С. 183.

⁹¹ Там же. С. 169.

⁹² Там же. С. 174.

Нам ночью снится свист ремней,
И гул машин и пар,
Но наяву еще страшней,
Еще больней кошмар.
Неужто также в кабале
И нашим детям жить?
Коль правды нет в родной земле,
Пора ее добыть.
Поили потом землю мы
И кровью напоим.
Тот победит упорство тьмы,
Чей дух непобедим.
Прости мой дом, прости семья,
Бог весть, вернусь ли вновь.
Свободе – жизнь и кровь моя,
А вам – моя любовь⁹³.

Проходит меньше года и Федоров, находящийся на палубе парохода, везущего в Америку еврейских беженцев, возвращается к теме подчиненности человека своей судьбе.

И ночь и шторм... Пустыня океана...
Людское стадо в трюме корабля.
Ты, нищета, страшнее урагана.
Ты злее тьмы, родная им земля.
Судьба на крыльях ужаса и горя
В железный край несет их тяжело.
Что слабых ждет за мутной далью моря?
Все тот же гнет, быть может, то же зло.
Кто жил рабом, кто все сносил на свете,
Того везде преследует судьба.
И в рабских ласках зачатые дети
Унизят жизнь покорностью раба⁹⁴.

Америка

28 (15) октября 1906 года московская газета «Русское слово» сообщила:

«Первым беспересадочным рейсом отошел сегодня из Одессы в Нью-Йорк океанский пароход “Тригорий Мерк”, зафрахтованный русским обществом перевозки в Америку. Эмигрантов отправилось до 800 семейств, преимущественно евреев с юга и запада России, из городов, переживших погромы. Преобладает рабочий люд и молодежь. Среди эмигрантов находится значительная партия крестьян Черниговской губернии, отправляющихся в Калифорнию искать заработков на золотых приисках, а также немцы колонисты Херсонской губ. Путешествие до Америки продолжится 24 дня. Рейсы устанавливаются ежемесячные».

⁹³ А.М. Федоров. Мой путь. С. 132-133.

⁹⁴ Там же. С.147.

Вместе с беженцами на борт «Григория Мерка» поднялся и Александр Митрофанович, получивший отдельную каюту на спардеке, т.е. самой верхней палубе, рядом с капитанской. Он планировал рассказать о тех, кто решился разорвать связь с родиной, а главное, выяснить, на что они могли рассчитывать в Америке.

Впечатления от этой поездки вошли в книгу «За океан», выпущенную санкт-петербургским издательством «Прометей» в 1909 году.

С первых страниц Федоров представляет себя бывалым путешественником – значительная часть книги посвящена описанию встречающихся по пути следования парохода мест, где автор уже побывал: Турция, Греция, Италия. Живописные виды перемежаются рассказами попутчиков о пережитых ужасах, и читатель, зная склонность Федорова к мелодраме, может подивиться тому, насколько он сдержан в передаче историй беженцев. На одну из причин он указывает сам – газеты изобиловали такого рода материалами, поэтому тема при всей своей драматичности избита донельзя. Выделяется своей ироничностью лишь одна история семьи, которую спасла от погромщиков непроходимая грязь возле их лавки. К тому времени, когда грязь высохла, погромщики протрезвели в прямом и в переносном смысле. Отстраненное отношение к объекту журналистского исследования позволяет предположить, что главный интерес Федорова вызывают все же не беженцы, а страна, в которую они отправляются.

Читая сегодня книгу, которая увидела свет более ста лет назад, можно только подивиться тому, насколько не изменились ни взгляд на Америку новых иммигрантов, ни взгляд американцев на новоселов.

«Григорий Мерк» ошвартовался у бруклинского причала в середине ноября. Город вызвал у Федорова бурю эмоций, разобраться с которыми он так и не смог, пока готовил книгу к изданию. Его привела в восторг Статуя Свободы, встречающая иммигрантов, но страшно удручили «плоские» небоскребы и поезда, которые с грохотом неслись перед ним по земле, под землей и по воздуху. Грохочущие рельсы окружали его повсюду. Александр Митрофанович не смог по достоинству оценить гений создателя американской сталелитейной промышленности Эндрю Карнеги, благодаря которому страна покрылась сетью железных дорог и приблизилась к небу построенными из металлических конструкций высотками. Путешественник поражается изобилию магазинов, движущимся в них лестницам, нарядно одетым дамам и их раскованности, а также школам и библиотекам, которые выглядят как дворцы. Его потрясает сообщение о том, что родителей наказывают, если они не отправляют детей на занятия. Кондуктор подземки боксирует с пассажиром на остановках. Пару ударов – и оба возвращаются в вагон, чтобы возобновить поединок на следующей остановке. Пассажир утирает разбитый в кровь нос, но не сдается. Изумленный гость напоминает персонажа из романа Жюль Верна, попавшего на другую планету.

В то же время он отмечает механистичность человеческих отношений и остекленевшие взгляды пассажиров подземки. Он безапелляционно заявляет, что в таком городе нет места романтике. С рассказом О.Генри «Дары волхвов», опубликованном за год до его появления в Нью-Йорке, он, видимо, еще не знаком.

Федоров рассказывает о визите в Нижний Ист-Сайд, куда стекается российское еврейство. Он отмечает, что дома новых американцев каменные, то есть добротные, хотя живут они тесновато. Он посещает местный политический клуб, где ему показывают Матюшенко – беглого матроса с броненосца «Потемкина». Тот кажется ему разочарованным, потерявшим себя человеком. По иронии судьбы борец за свободу кует на чужбине решетки. Автор добавляет, что к моменту издания его книги Матюшенко вернулся на родину, где был повешен. Это позволяет предположить, что ньюйоркская встреча – сочинение автора, не остерегающегося опровержения со стороны казненного. Только что начавшийся в клубе политический диспут завершается требованием: «Вам нечего делать в нашем клубе, идите в

свой!» Свобода, отмечает наблюдатель, превращает этих людей в бессмысленных доктринеров. Это наблюдение не теряет своей актуальности поныне.

Гость города поднимается по Бродвею к знаменитому Троицкому храму (Trinity Church) с зажатым со всех сторон небоскребами приходским кладбищем. Сам бы он никогда не согласился найти последний приют в таком шумном месте. От обилия публики на улицах, звона трамваев, грохота надземных поездов, клаксонов авто, криков возниц голова его идет кругом. Рассматривая *безвкусовые* особняки Пятой авеню, гость добирается до Центрального парка. Здесь он переводит дыхание и на минуту-другую приходит в себя. Вечереет. Зажигаются фонари. Последние листья облетают с голых ветвей. Эта картина напоминает ему дом, Одессу...

Федоров многократно обращается к теме того, что работодатель в Америке выжимает из своих подчиненных последние соки. Да, работают здесь не так, как в России, но платят хорошо. И в конечном итоге это определяет отношение человека и к работе, и к стране. Если ты умеешь и хочешь работать – ты здесь не пропадешь! Именно по этой причине трое матросов с «Григория Мерка» принимают решение остаться в Америке. Surprise! Surprise! – как говорят в таких случаях американцы.

Очень интересной в книге «За океан» кажется тема взаимоотношений иммигрантов и американцев. Речь идет об угрозе со стороны европейского социализма главным американским традициям – личной свободе, ответственности и свободному рынку.

В начале XX века главным носителем социалистических идей была приезжающая из России еврейская молодежь. Хотя в Америке не было царя, мир представлялся им полем бесконечной борьбы угнетаемых и угнетателей. Один из таких борцов с несправедливостью, перед тем как сойти с борта «Григория Мерка» на бруклинский берег, говорит Федорову:

«Америку, такую, какова она теперь, создали эмигранты. Эмигранты же должны ее сделать и такой, какой она должна быть. Вы подумайте! Сотни тысяч народа ежегодно приливают сюда из всех стран света. И какого народа! Большинство несет в себе ненависть ко всякому гнету: будь то гнет власти, или гнет капитала. Кому же как не нам бороться за идеи социализма, за светлое будущее человечества! ...я, все равно, не стану буржуем. Ведь через эти пять лет я уже сделаюсь полноправным гражданином и в состоянии буду участвовать в управлении страны»⁹⁵.

Этот текст способен вызвать и сегодня возмущение у миллионов американцев, в том числе еврейского происхождения. Эти видят аналогичную угрозу американским ценностям исходящей от хлынувшей в США легальной и нелегальной иммиграции из стран Латинской Америки: Мексики, Колумбии, Сальвадора, Гондураса, Венесуэлы... Не говоря о новоприбывающих из стран арабского мира, Африки, Азии.

Что правда, миллионы других американцев описанного Федоровым российского социалиста поддержали бы, как говорится, обеими руками. Такой сторонник социализма и эмиграции обнаруживается и в его книге. Это – инженер, проводящий инспекцию судна перед его выходом в океан. Интеллигент, дипломированный специалист, гуманист. Его оппонент – простой угольщик, «ред нэк». Все как сегодня.

По крайней мере, в рамках этой книги совершенно очевидно, что и Александр Митрофанович искренне загорелся мечтой о светлом социалистическом будущем мира. Революция, которая в России привлекала его лишь своей героической эстетикой, в изобильной Америке обещала более зримый результат – справедливое перераспределение реальных плодов труда между всеми, кто был вовлечен в их производство. Здесь было что делить.

Очерк заканчивается на высокой оптимистичной ноте:

⁹⁵ А.М. Федоров. За океан. СПб.: Прометей, 1909. С.131.

«Социализм растет вместе с ростом эмиграции.

Еще в 1988 г. в Америке было всего 2,068 избирателей социалистов.

А к 1904 г. цифра эта возросла до 600 000.

Таким образом, в течение 7 лет число социалистов избирателей увеличилось почти в 300 раз.

Цифры красноречивее восклицательных знаков, и я заканчиваю ими эту главу»⁹⁶.

Когда книга «За океан» готовилась к изданию, социализм должен был представляться Федорову лишь увлекательной теорией преобразования мира. Впереди Александра Митрофановича и его семью ждали практические занятия.

Тучи над Иерусалимом

«Было что-то тяжелое до жуткости в этих тучах, которые неслись над Иерусалимом. В поздний ночной час над спящим древним городом, в тучах как будто оживают сумбурные кошмары прошлого и носятся его мрачные тени.

Сильный северо-восточный ветер гонит и сталкивает их. Но кажется, что этот ветер поднимают они своим стремительным движением, и от них тревожный шум и свист в узких изломах улиц, где осклизлые черные камни и железо отвечают им печальными голосами неумирающих тайн.

Мой кавас Савва косится на небо и боязливо говорит, покачивая головой:

– Э, что теперь делается в море!

Его слова падают на меня, как холодные капли дождя, срывающиеся с туч».

Так начинается рассказ А.М. Федорова «Чудо», опубликованный в 1910 году и относящийся к группе текстов, написанных после или во время посещения Святой Земли. Эти несколько абзацев, а главное – ключевые слова «Иерусалим», «город» и «туча», неожиданно вызывают в памяти оказавшиеся более долговечными в читательском сознании строки:

«Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город. Исчезли висячие мосты, соединяющие храм со страшной Антониевой башней, опустилась с неба бездна и залила крылатых богов над гипподромом, Хасмонецкий дворец с бойницами, базары, караван-сарай, переулки, пруды...

Пропал Ершалаим – великий город, как будто не существовал на свете. Все пожрала тьма, напугавшая все живое в Ершалаиме и его окрестностях. Странную тучу принесло с моря к концу дня, четырнадцатого дня весеннего месяца нисана».

На связь текстов Федорова и Булгакова обратил внимание автор «Булгаковской энциклопедии» Борис Соколов. Но Соколов указывает на другой федоровский текст в качестве отправного для Булгакова.

«При описании гибели И<уды> из К<ириафа> автор романа “Мастер и Маргарита” использовал целый ряд деталей из очерка русского писателя Александра Митрофановича Федорова (1868–1949) “Гефсимания”, опубликованного в апреле 1911 г. в петербургском журнале “Новое слово”.

Здесь переданы впечатления от посещения Федоровым Гефсиманского сада в лунную весеннюю ночь, причем упоминаются многие реалии, отразившиеся в булгаковском романе; турецкие казармы на месте дворца Пилата (у Булгакова рядом с дворцом расположены римские казармы); караваны арабов-паломников на верблюдах, ничуть не изменившиеся со времен Христа; ворота и стены Гефсиманского сада; переправа через Кедронский поток. В

⁹⁶ Там же. С. 145.

саду автора “Гефсимании” подкарауливали двое разбойников, и лишь присутствие проводника спасло его»⁹⁷.

Напомним, что предлагая свою версию гибели Иуды, Булгаков тоже вводит в сюжет двух наемных убийц, зарезавших Иуду по дороге в Гефсиманский сад. История о самоубийстве возникает позднее. У Булгакова ее предлагает сделать официальной начальник секретной стражи Понтия Пилата, «заказавший» предателя.

Соколов указывает на первую журнальную публикацию «Гефсимании» 1911 года, но этот очерк переиздавался еще по меньшей мере дважды – в книге «Солнце жизни», вышедшей как 7-й том собрания сочинений А.М. Федорова в 1913 году, и затем отдельной книгой под тем же названием в 1917 году. То есть названный очерк не был одноразовой, быстро исчезнувшей из обращения публикацией.

Рассказы Федорова о поездках по местам, где расположены святыни христианства, читаются с интересом и сейчас, когда жанр путевых очерков пал жертвой интернета и телевидения. Перечитывая «Гефсиманию» о ночной прогулке путешественника в знаменитую масличную рощу за городом, постоянно сталкиваешься с той образностью, которая явно присутствует в булгаковской прозе.

«Ветер дул сразу как будто со всех сторон, бросался назад, заставляя ежиться от холода, и взметывался до самых туч, разрывая их с бешеным беспокойством».

«Слышно было, как ветер выл и свистел, проносясь по узким и кривым улицам Иерусалима, заражая их мрак и опустелость своей мятущейся тревогой»⁹⁸

«Луна поднялась выше, продолжая свою фантастическую игру с тучами, которые меняли каждый миг свои очертания и мрачным полчищем надвигались на Иерусалим»⁹⁹.

«Иерусалим, над которым теперь низко нависли тучи, сам кажется сейчас темной, свалившейся тучей; сквозь нее едва пробиваются, как звезды, редкие ночные огни»¹⁰⁰.

В «Мастере и Маргарите» Соколов находит следы не только описанной Федоровым иерусалимской топографии.

«Внимание Булгакова привлекли также слова Федорова о том, что “в продолжение двух тысячелетий на землю эту упали ливни крови: кости сваливались, как хворост, и дикие бури-войны бушевали во имя Христа. Иерусалим разрушался и возникал много раз, но в Гефсиманском саду растут те же сизые маслины, те же красные цикламены качаются среди камней, как огненные бабочки. И люди остались те же”. У Булгакова первые капли крови, которые пролились в Гефсиманском саду после гибели Иешуа Га-Ноцри, – это капли крови И. из К. (*Иуды из Кириафа* – **В.Я.**) Данному месту созвучны и слова Левия Матвея Понтию Пилату о том, что «крови еще будет», и заключение Воланда на сеансе черной магии в Театре Варьете о том, что со времен Иисуса люди мало изменились».

<...>

«Эпилог булгаковского романа созвучен воображаемому вознесению Христа из очерка Федорова: “Туча и луна придают еще более очарования тому, что я вижу, угадываю, почти постигаю. Шире раздалось серебристо-голубое пространство между землею и тучами; бесконечно длинной полосой, изломанной со стороны неба и земли, сияет оно и как бы течет, как светлая река. Слева, под этой рекой света, еще более яркое пространство, которое все фосфорится и блещет, точно зеркало луны, где она отражается из-за туч”. В эпилоге “Мастера и Маргариты” во сне Ивана Бездомного бывший поэт, ставший профессором истории, видит вознесшегося Иешуа, мирно беседующего с Пилатом, “тогда

⁹⁷ Б.В. Соколов. Булгаковская энциклопедия. М.: Локид, Миф, 2000. С. 227.

⁹⁸ А.М. Федоров. Солнце Жизни. Московское книгоиздательство, 1917. С. 57.

⁹⁹ Там же. С. 67.

¹⁰⁰ Там же. С. 68.

лунный путь вскипает, из него начинает хлестать лунная река и разливается во все стороны. Луна властвует и играет, луна танцует и шалит. Тогда в потоке складывается непомерной красоты женщина и выводит к Ивану за руку пугливо озирающегося обросшего бородой человека” – Мастера. Эти двое утешают бывшего поэта, после чего “луна начинает неистовствовать, она обрушивает потоки света прямо на Ивана, она разбрызгивает свет во все стороны, в комнате начинается лунное наводнение, свет качается, поднимается выше, затопляет постель. Вот тогда и спит Иван Николаевич со счастливым лицом”¹⁰¹.

Война

Уже через месяц после начала войны Александр Митрофанович отправился в сторону фронта. Путь его лежал из Одессы в Петроград, оттуда – через Псков, Вильну и Гродно – в Варшаву. Здесь 25 сентября он примкнул к группе журналистов из «Ле Журналь», «Дейли Мэйл», «Нью-Йорк Сан» и «Асахи Симбун». Из своих братьев по перу был В.И. Немирович-Данченко. С этой группой – в поезде или предоставленном журналистам трофейном «Бенце» Федоров провел вблизи фронта три месяца. Он описывал настроения в войсках, красоты польских городов, героизм русских солдат, самоотверженность медсестер, усеянные трупами поля сражений, работу госпиталей и организацию помощи беженцам. Очерки эти печатались в газете «Киевская мысль» – наиболее многотиражной на юго-западе России.

Года не прошло, как Федоров издал свои корреспонденции 430-страничным томом «С войны», предварив их словами о том, что выпускает свой труд с сомнениями и колебаниями. Причиной было то, что успешно начавшаяся на юго-западном фронте кампания к моменту издания книги обернулась миллионными потерями в российской армии и сдачей врагу Варшавы, Бреста, Вильнюса, всей Галиции.

Точно так же, как Федоров извинялся за отсутствие времени на редактирование своих текстов перед Буниным и Чеховым, он привычно покаялся в том же прегрешении перед читателем.

«Трудно требовать художественных достоинств от статей, написанных под грохот орудий, под стоны истекающих кровью, под вопли обездоленных и осиротелых. Приходилось писать чаще всего как в лихорадке, то в радостном подъеме по поводу наших побед, то в мучительной тоске, с болью и слезами при виде наших тягостных поражений и утрат; то в номере гостиницы, то в грязной халупе, то в вагоне поезда, а то так и просто на дороге, во время вольной и невольной остановки. Где уж тут было следить за художественными достоинствами! Хотелось поскорей оповестить читателя о стремительно меняющихся событиях, где все было так необычно, так страшно и, вместе с тем, величественно, так зверски низменно и мрачно, и порой так возвышенно и трогательно.

<...>

...все происходившее и переживаемое представляло настолько громадный психологический, бытовой, а главное – исторический интерес, что каждый миг наблюдений и впечатлений в этой всемирной войне должен быть важен и для нынешнего общества и для потомков, которые будут искать в малейшем свидетельстве очевидца отражений кровавой эпохи, несомненно – самой кровавой от века веков и доныне и несомненно неповторимой во веки веков и впредь»¹⁰².

«Громадный» интерес публики к Первой мировой давно уже перестал быть громадным, что касается книги «С войны», то и ее не отнести к лучшим произведениям

¹⁰¹ Булгаковская энциклопедия. С. 227.

¹⁰² А.М. Федоров. С войны. Московское книгоиздательство, 1915. С. 3-4.

военной журналистики. Главная причина в той ремесленнической легкости, с какой автор генерировал свои тексты на однородном материале. Тем не менее у книги есть своя ценность. Она зеркально отразила настроения образованного общества в первые месяцы после начала войны. Привычный читателю пафос Федорова, который слышен в оценке обрушившегося на мир бедствия, органично сливается с хором литераторов, чей вкус и литературный слух нам кажутся безукоризненными.

Федоров пишет:

«Зверство и самоотверженность, жестокость и милосердие. Я убежден, что в этой войне особенно ярко сказались все возвышенные свойства народной души, инстинктивно чувствующей, что она борется с губительным и растлевающим злом, провидящей за всеми бесценными жертвами, приносимыми ею родине, новую светлую жизнь.

Уже и в отражениях войны проблескивают эти светлые, почти священные черты. Что же творится там, где, как одна сила, одна душа, наш народ борется с врагом мирной трудовой и прекрасной жизни, где солдаты идут в огонь, защищая процветание и благоденствие не только своей родины, но и – можно сказать – всего мира, где не только они, но и доктора и сестры милосердия под огнем выносят на своих руках раненых»¹⁰³.

А вот как звучит голос Леонида Андреева в статье «В сей грозный час»:

«И, борясь за Россию против могущественной Германии, сознательно стремящейся к порабощению всех других народов и рас, мы боремся не только за те временные и преходящие формы, в каких отлилось настоящее нашей родины, но и за все те возможности, которые лежат в основе нашей молодой культуры и пророчески предуказаны нашими духовными вождями. Не за Россию эмпирическую и сущую, а за Россию мыслимую, желаемую и возможную поднял оружие русский народ.

Начав войну, мы доведем ее до конца: до полной победы над Германией; и здесь не должно быть ни сомнений, ни колебаний»¹⁰⁴.

Бунин в открытом письме деятелей культуры объясняет читателю:

«Солдаты Германии как бы взяли на себя низкую обязанность напомнить человечеству, что еще жив и силен древний зверь в человеке, что даже народы, идущие во главе цивилизующихся народов, легко могут, дав свободу злой воле, уподобиться своим пращурам, тем полунагим полчищам, что пятнадцать веков тому назад раздавили своей тяжелой пятой античное наследие: как некогда, снова гибнут в пожарищах драгоценные создания искусства, храмы и книгохранилища, сметаются с лица земли целые города и селения, кровью текут реки, по грудам трупов шагают одичавшие люди...»¹⁰⁵

Все эти тексты словно написаны одной рукой. Ура-патриотическое настроение коллег задало тон военным очеркам Федорова. Солдаты и офицеры охотно идут на фронт, осознавая благородство своей миссии. В эшелонах, забитых эвакуирующимися и солдатами, царят любовь и галантные манеры. Офицеры умны, культурны, уверены в себе и в победе. Наши доблестные воины уничтожают врага тысячами и тысячами берут его в плен, где демонстрируют чудеса милосердия. Мудрое командование выше всяких похвал. С совершенно искренним подобострастием Федоров описывает встречу корреспондентов с верховным главнокомандующим – великим князем Николаем Николаевичем.

«Великий Князь строен и высок <...> Окинув нас внимательным и строгим взглядом, Великий Князь подает поочередно всем руку и затем отходит опять на прежнее место.

¹⁰³ Там же. С. 126-127.

¹⁰⁴ Леонид Андреев. В сей грозный час. М.: Прометей, 1915. С. 6.

¹⁰⁵ И. Бунин. Газета «Русское слово». 1914 г. № 223. 28 сентября. Цит. по: А. Бобореко. Бунин: жизнеописание. М.: Молодая гвардия, 2009. С. 210.

Только тут я разглядываю его удлинённое острой седоватой бородкой выразительное лицо, в чертах которого сказывается и царственная порода, и железная воля.

Как это ни странно, мне кажется, что Великий Князь слегка взволнован; конечно, не тем, что перед ним представители шестой державы – печати. Как полушутя мы называли себя перед этим, живые рупоры России, Франции, Англии, Америки и Японии. Скорее всего, это понятная нервность, неизбежная при том страшном напряжении сил и энергии, которых требует великое, сложное и глубоко ответственное творческое дело войны.

Великий Князь обращается к нам с речью, которую уже все знают по телеграммам. Он говорит просто, с той ясной искренностью, которая чувствуется не только в словах, но и в голосе, и в каждом взгляде, и в каждом движении лица. Иногда в этих властных чертах вдруг засветится улыбка, и от нее лицо особенно оживает и становится приветливым»¹⁰⁶.

На пике журналистского восторга, Александр Митрофанович начинает называть Великого Князя Великим Вождем.

Восторги в адрес своих солдат и офицеров – на каждой странице.

Плененный немецкий солдат из очерка «В Колюшках» говорит голосом Федорова:

«О, русские солдаты это совсем особенный народ. Когда они дерутся – дерутся как герои, а когда мы теперь видим их рядом с нами, мы, пленные, должны сказать, что они относятся к нам как братья, и ведут себя как святые»¹⁰⁷.

В 1914 году автор этих слов не мог представить в самом страшном сне, как изменят пять лет войны этих святых, оказавшихся в тех же самых краях, но уже в составе Первой конной Буденного. Он не мог предвидеть и более близких событий – отстранение от должности Великого Вождя, оказавшегося главным виновником хаоса и чудовищных потерь на фронте.

Зато как достается от Федорова немцам! В числе особо ненавистных ему представителей врага – бомбометатели, сбрасывающие свой смертоносный груз на мирное население, в том числе на детей. В очерке «Дети» пострадавший от бомбы ребенок выглядит как ангел с викторианской открытки:

«Девочка лежит неподвижная и худенькая, на ее щеках уже сквозят землистые тени. Глаза ее полузакрыты, а когда она открывает их, темные длинные ресницы поднимаются, как два слабых крылышка жизни, которая вот-вот отлетит от них, и тогда эти крылышки-ресницы упадут, бессильные, на зрачки ее глаз, которых злодейски коснулся призрак войны.

Мать смотрит на нее неподвижными глазами, в которых сквозит такое беспредельное горе, для облегчения которого нет ни слов, ни звуков, ни молитв.

Если бы этого немецкого летчика могли судить за его, может быть, неумышленное убийство, пусть бы его заставили в наказание взглянуть в эти невыразимо страдальческие глаза матери; в них прочитала бы приговор его собственная совесть»¹⁰⁸.

То, что Митрофанюча заносило, заметно не только с расстояния в сто с лишним лет. В очерке «Смерть шт.-кап. Гурдова» – о героическом командире подразделения «автомобильных пулеметов» – автор рассказывает о посмеявшемся над ним читателе:

«Вспоминаю как после моей статьи о подвиге Гурдова, напечатанной в “Киевской мысли”, – какой-то господин из “Киевлянина”, за подписью Артиллерист, поместил письмо в редакцию, где вышучивал не то меня, не то самый подвиг Гурдова. Я описывал его, основываясь на документальных данных.<...> И все это г. Артиллерист из “Киевлянина” назвал измышлениями бар. Мюнхгаузена, подражанием выдумкам Уэллса и т.д.»¹⁰⁹

¹⁰⁶ А.М. Федоров. С войны. С. 83.

¹⁰⁷ Там же. С. 289.

¹⁰⁸ Там же. С. 361.

¹⁰⁹ Там же. С. 378.

«Киевлянин», издававшийся историком Виталием Шульгиным (отцом Василия Шульгина), считался газетой правой, и ее авторы нередко пикировались с либеральными коллегами из «Киевской мысли».

Не знаю сколько современников Федорова улыбнулось или расхохоталось, читая его вдохновенные строки о медсестре Тимощенко из очерка «Сестры», спасавшей от холода раненного солдата.

«Теплого ничего не было, если не считать пальто, которое было надето на Тимощенко. Она сняла это пальто и накрыла им раненого. Но раненый все дрожал от озноба. Тогда она сняла с себя кофточку и осталась в одной кисейной блузке»¹¹⁰.

Как бы назвать этот стиль? Патриотическая эротика?

«Киевская мысль» и ее корреспондент А.М. Федоров подняли еще одну популярную в первый год войны тему – защиту еврейского населения от поднявшейся в стране очередной волны антисемитизма. Причиной ее было подозрение в том, что евреи являются коллаборантами немцев. В январе 1915 года начальник штаба Верховного Главнокомандующего Николай Янушкевич разослал циркулярное письмо по всей линии фронта, в котором разрешалось выселение «евреев и подозрительных личностей» из всех районов военных действий. Но депортация еврейского населения началась уже осенью 1914-го, и за год было переселено порядка одного миллиона евреев. С одной стороны, это спасало их от оккупантов, с другой – масса людей, оторванных от своих хозяйств, оказалась без средств к существованию, без крова над головой. В наши дни это бы назвали гуманитарной катастрофой.

В очерке «Исход» Федоров рассказывает, как его автомобиль встречает на дороге многокилометровую процессию беженцев.

«...у некоторых мужчин и женщин на руках опять-таки дети – это уже совсем младенцы. Они завернуты в тряпки или в теплую шаль. Кроме этой ноши, редко у кого есть какой-нибудь груз – узелок или чемоданчик. Большинство идет с пустыми руками, идет молчаливо и угрюмо по широкому шоссе и только при виде автомобиля испуганно отходят в сторону. Подвод очень мало. Тянутся пешком.

<...>

Я не знаю еще, откуда, куда и почему идут эти несчастные, нищие, жалкие люди, но чувствую, как что-то начинает стискивать мне горло»¹¹¹.

На глазах Федорова совершается страшная несправедливость, поскольку в этой войне евреи несут те же тяготы, что и русские, проявляют такой же героизм и жертвенность. Известно, что в российской армии к концу войны служило полмиллиона евреев. Многие были награждены за героизм Георгиевскими крестами, многие сложили свои головы. И это не говоря о принявших православие и дослужившихся до генеральских чинов. Тема добровольного, добросовестного и героического служения евреев своей стране – проходит красной нитью через всю книгу Федорова. Вот сцена из очерка «Раздача Георгиевских крестов»:

«... и опять торжественно-строгий голос начальника:

– Ефрейтор Сергей Бланк!

В строе происходит некоторое замешательство. Кого-то бережно выпирают вперед, а тот не решается, не веря своему счастью.

– Тебе! Тебе! – слышится шепот вокруг него. – Слыхал: – Бланк.

Приземистая, скромная фигура еврея выступает вперед, еще раз нерешительно оглядывается на товарищей и движется по направлению к начальству.

¹¹⁰ Там же. С. 88.

¹¹¹ Там же. С. 177-178.

– Ефрейтор Сергей Бланк, поздравляю тебя с Георгием за твой геройский подвиг! – говорит командир...»¹¹²

Еще один герой-еврей появляется в очерке «Раненные»:

«Черная борода еще больше оттеняет почти мертвенную бледность его интеллигентного лица. По профессии он провизор. <...> У него от самого плеча – нет левой руки.

– Отбило шрапнелью? Или отхватил саблей кавалерист?

– Нет, – слабо шевеля губами, отвечает он. – Отрезали здесь, в госпитале. Началась гангрена»¹¹³.

Корреспондент выясняет, что солдат был ранен в бою при Голдапе, попал в плен. Отсутствие медицинского ухода у немцев стало причиной гангрены. Его спасло то, что русские отбили город у врага.

Федоров прервал свою поездку в декабре 1914 года, объяснив это тем, что разбился в автомобиле. Полученные им травмы были, видимо, несерьезными, поскольку 5 января находившийся в Москве Бунин записал в дневнике, что проводил Федорова на Николаевский вокзал. Тот ехал в Петроград, а оттуда снова в Варшаву. Ехал наверняка в качестве корреспондента, продолжая писать военные корреспонденции. Одним из заказчиков были «Одесские новости». Его статьи с фронта появлялись в газете вплоть до декабря 1915 года.

В 1916-м его отношение к событиям на фронте, надо понимать, изменились. Александр Митрофанович устал от собственного патриотического угара. Он не был одинок. 5 апреля 1916 года Бунин записал в дневнике:

«Все думаю о той лжи, что в газетах насчет патриотизма народа. А война мужикам так осточертела, что даже не интересуется никто, когда рассказываешь, как наши дела. “Да что, пора бросать. А то и в лавках товару стало мало. Бывало зайдешь в лавку...” и т. д.»

В 1916-й год Федоров вступил с новыми стихами, работой над очередным романом и переизданием трех старых: «Бумажное царство», «Его глаза» и «Камни». Последний переиздавался уже четвертый раз. Ему также нужно было хлопотать о сыне, призванном на военную службу.

Виктор на военной службе

Поступив в Одесское художественное училище, Виктор смог проучиться всего несколько месяцев. В первых числах января 1916 года его мобилизовали и отправили в Одесское артиллерийское училище.

В письмах Катаеву на фронт Александр Митрофанович рассказывает, как сын проходит курс шестимесячной подготовки: тяжелая работа, присяга, практические стрельбы, назначение в тяжелую артиллерию и произведение в прапорщики. По этой воинской специальности его призвуют на службу и в годы Второй мировой.

В этой напряженной атмосфере экзаменов, занятий, войны, ожидания мобилизации Виктор влюбляется. Его пассия – соседка Надя – дочь Леонида Ковалевского, у которого был куплен дачный участок. Отец не дожил до свадьбы младшей дочери полугода. После его смерти, по словам Александра Митрофановича, Надя почти что жила на их даче. В июле 1916 года молодые обвенчались. Виктору было 19 лет. Его супруге – 20.

В 1917-м у них родился первенец – Леонид, в семье его звали Лекой, а в 1918-м – Вадим или Вадя.

¹¹² Там же. С. 194.

¹¹³ Там же. С. 23.

Виктор провел несколько месяцев на Румынском фронте, где получил чин подпоручика. Последним местом его службы стала прожекторная команда 2-го Артиллерийского участка береговой обороны. Она располагалась на Большефонтанском мысу, и на выходные он приходил ночевать домой. Это были праздники для родителей, дом наполнялся музыкой и пением.

Как могло случиться, что Виктор получил такое блатное, как теперь сказали бы, место? Скорее всего, что стараниями отца. Работа военного корреспондента могла свести его с теми, кто помог в устройстве его мальчика.

Надя Ковалевская рассказывала сыновьям, что Александр Митрофанович был лично знаком с военным министром Временного правительства А.И. Гучковым. Знакомство могло произойти еще до Февральской революции, на фронте, где Гучков служил в качестве представителя Красного Креста. Хорошо знал Гучкова и коллега Федорова – В.И. Немирович-Данченко. Мы не знаем, позволило ли именно это знакомство устроить Виктора, но оно позволило Федорову ходатайствовать за осужденного на смерть преступника, чье имя сохранилось в истории лучше имени самого Федорова. Речь идет о Григории Котовском.

Котовский

Хотя Александр Митрофанович был простого происхождения, проще, собственно, некуда – дед пастух, отец сапожник, – по роду занятий он принадлежал к той самой либеральной интеллигенции, которую одни считают совестью народа, другие – виновницей всех его несчастий. Правы, конечно, и те и другие. Как истинный сын своей среды, к тому же поэт, Федоров идеализировал бунтарей и в знаменитом бессарабском налетчике видел не обычного бандита, а шиллеровского Карла Мора.

Летом 1916 года Котовский был схвачен и приговорен Одесским военно-окружным судом к смертной казни. В ожидании казни узник жадно читал прессу, активно обсуждавшую его судьбу. Видя, что у него есть сторонники и, стало быть, дело его не безнадежно, Котовский написал письмо супруге генерала А. Брусилова с мольбой о помощи. Брусилов был в это время командующим Юго-Западным фронтом и одесский суд находился в его юрисдикции. По одной версии старый генерал уступил молодой жене, заменив казнь бессрочным заключением. По второй – грянула февральская революция, отменившая смертную казнь. Избежав петли, Котовский, естественно, озабочился сокращением срока, а то и обретением свободы. В кампании за освобождение благородного бандита активное участие принял и Александр Митрофанович.

Об этом подробно рассказал писатель-эмигрант Роман Гуль в вышедшем в 1933 году в Берлине сборнике «Красные маршалы». В главе о Котовском описана встреча последнего с Федоровым в камере смертников одесской тюрьмы. В качестве источника информации Гуль назвал статью самого Федорова «О разбойнике-генерале». Не располагая оригиналом, мы не можем обвинять Гуля в нарушении копирайта, но в репликах героев угадывается помпезный слог самого Федорова.

«Над Россией разразилась революция, буревестником которой был Котовский.

Уж отрекся царь, уж опустел Зимний дворец, власть над Россией взяли в свои руки русские интеллигенты. Но Керенский еще не успел отменить смертную казнь, и петля висела над Котовским.

За дело помилованья взялся теперь известный писатель А. Федоров. Федоров Котовского не знал, но, вероятно, как писателю – Котовский был ему интересен.

Федоров вошел в небольшую узкую камеру, где сидел закованный Котовский.

<...>

Федоров увидал мускулистого силача, с красивым, немного грустным лицом и острыми пронизательными глазами. Когда Федоров сказал, что хлопочет перед Временным Правительством не только об отмене смертной казни, но и об освобождении Котовского, тот улыбнулся и ответил.

– Я знаю, что вас интересует во мне. Вы интересуетесь, как я представляю себе свою жизнь, сейчас, после революции? Да? Я скажу вам прямо, я не хочу умирать и хочу милости жизни, но я хочу ее, пожалуй, даже не для себя, я могу обойтись без нее. Эта милость была бы показателем доверия и добра, но не ко мне одному... Впрочем, – улыбнулся Котовский, – я бы постарался оправдать...

– Конкретно, – проговорил Федоров, – что вы хотите?

– Свободы! Свободы! – вскрикнул Котовский, зазвенев кандалами, – но свободы, которую я бы принял не как подарок, а как вексель, по которому надо платить. Мне тюрьма теперь страшной смерти...

Котовский, задумавшись, помолчал. Потом заговорил, как бы сам с собой:

– Я знаю свою силу и влияние на массы. Это не хвастовство, это знаете и вы. Доказательств сколько угодно. Я прошу послать меня на фронт, где благодаря гнусному приказу № 1 делается сейчас черт знает что! Пусть отправят меня на румынский фронт, меня все там знают, за меня встанет народ, солдаты. И вся эта сволочь, проповедующая бегство с фронта – будет мной сломлена. Если меня убьют, буду счастлив умереть за родину, оказавшую мне доверие. А не убьют, так все узнают, как умеет сражаться Григорий Котовский.

Котовский говорил без рисовки, со спокойной твердостью.

– Нет, теперь умирать я не хочу. И верю, что не умру. Если смерть меня так необычайно пощадила, когда я уже был приговорен к казни и ждал ее, то тут есть какой-то смысл. Кто-то, судьба или Бог, – улыбнулся он, – но оказали мне доверие, и я его оправдаю. Теперь только пусть окажет мне еще доверие родина, в лице тех, кто сейчас временно ее представляют, – и не возвышая голоса он вдруг добавил:

– Мне хочется жить!

И с такой внутренней силой, которая почувствовалась в мускулах, в оживших темных, тяжелых глазах.

– Жить! Чтоб поверить в людей, в светлое будущее родины, которую я люблю, в ее творческую духовную мощь, которая даст новые формы жизни, а не законы, и новые отношения, а не правила.

Впечатление Федорова от посещения Котовского было даже сильнее ожидаемого. Хлопоты об освобождении пошли полным ходом. В “Одесских новостях” Федоров напечатал статью “Сорок дней приговоренного к смерти”. Статья прошумела и создала широкую волну за Котовского.

А когда в Одессу, проездом на румынский фронт, прибыл военный министр А. И. Гучков и здесь же был морской министр А. В. Колчак, в гостинице “Лондонская” Федоров добился с ними свидания. Министры отнеслись скептически к ходатайству писателя, но Федоров указал, что казнить нельзя, ибо революция уже отменила смертную казнь, оставить в тюрьме бессмысленно – все равно убежит. И министры согласились, что единственным выходом из положения является освобождение. К Керенскому пошла телеграмма, и от Керенского вернулся телеграфный ответ: революция дарует преступнику просимую милость.

Прямо из тюрьмы освобожденный Котовский приехал к Федорову. Взволнованно сжав его руку, глядя в глаза, Котовский сказал:

– Клянусь, вы никогда не раскаетесь в том, что сделали для меня. Вы, почти не зная меня, поверили мне. Если вам понадобится когда-нибудь моя жизнь – скажите мне. На слово Котовского вы можете положиться»¹¹⁴.

Гуль – не историк в строгом смысле слова, на его тексты нельзя смотреть как на литературно обработанные документы. Но в данном случае Гуль использует статью самого Федорова об обстоятельствах знакомства с Котовским.

Котовский был официально помилован 6 мая 1917 года. От других 90 тысяч уголовных «птенцов Керенского», вышедших на свободу месяцем ранее, его отличало то, что распоряжение Керенского об его освобождении могло быть персональным.

В действительности Котовский вышел на свободу за несколько недель до официального освобождения, поскольку в одесской тюрьме случился бунт и охрана попросту разбежалась. Этому предшествовала серия указов Временного правительства, по сути ликвидировавших правоохранительные органы страны.

В день помилования Котовский появился в одесской Опере, где произнес пламенную революционную речь, сорвал бурные аплодисменты и на волне этого бешеного успеха продал свои кандалы. В аукционе, сообщает историк Э. Бурда, победил купец Гомберг. Он приобрёл реликвию за три тысячи рублей.

Одесский краевед А. Розенбойм рассказывал, что в разговоре с ним В. Катаев сообщил, что Котовский действительно прятался на даче Федоровых, и «об этом все знали». Автор «Реального комментария к повести» Сергей Лущик со ссылкой на рукописные воспоминания одесского журналиста Алексея Борисова, в ранней юности знавшего А.М. Федорова, сообщает, что, действительно, в период Интервенции Котовский несколько недель прятался у того на даче, делая оттуда вылазки в город.

Вполне возможно. Французские войска появились в Одессе в ноябре 1918 года и покинули ее в начале апреля 1919-го. Из биографии Котовского известно, что он приехал в Одессу из Москвы в июле 1918-го и находился здесь на нелегальном положении вплоть до апреля 1919-го.

После демобилизации

Военная служба Виктора завершилась в апреле 1918 года. Попрощавшись с сослуживцами из команды маяка, он пошел домой. Его ждала большая любящая семья: родители, молодая жена, сыновья – и любимые занятия.

Апрель – особое время для Одессы. Весна начинает набирать силу, земля, окончательно избавившись от остатков грязного мартовского снега, словно делает первый влажный вдох. Солнце, ясное голубое небо, морской простор, пение птиц, легкая сыпь первой зелени – обещали новую жизнь, которую Виктор мог теперь всецело посвятить живописи. Уход большевиков только укреплял его надежду. Город в это время был занят австро-немецкими войсками и войсками Центральной Рады.

И действительно – осенью Виктор вернулся в училище, приступив к учебе в классе Кириака Костанди. Он также принял участие в выставках двух основных художественных групп Одессы – Товарищества южно-русских художников и их оппонентов – Независимых.

В этой насыщенной событиями жизни у Вити внезапно обнаружился еще один талант – вокальный. С помощью друзей семьи он попал в ученики звезды местной оперы, тенора Виктора Селявина. Без толики иронии того называли одесским Собиновым. Артистом тот

¹¹⁴ Роман Гуль. Котовский. Анархист-маршал. Нью-Йорк: Мост, 1975. Цит. по электронной версии в Библиотеке М. Мошкова:

<http://lib.ru/RUSSLIT/GUL/kotovsky.txt>

был действительно выдающимся – в его репертуаре было 80 партий, и если кому-то из коллег случалось заболеть, он выходил на сцену без подготовки. Отец был в восторге. Увы, это счастье было скоротечным.

С осени 1918 года Одесса переживала безостановочную смену властей. С ноября по декабрь в городе официально три власти: польская стрелковая бригада; петлюровские части под командованием генерала Бискупского и Добровольческая армия под командованием адмирала Ненюкова. В декабре поляков и петлюровцев сменили французы. В апреле 1919 года французы, сославшись на проблемы с доставкой провизии оккупационному контингенту, покинули город, и в Одессу ворвались передовые части атамана Григорьева, за которым появились большевики.

В доходном доме Ждановой – это дом 16 на Екатерининской площади – расположилось ЧК. На город обрушилась волна террора. В числе первых жертв – 712 городских юристов, арестованных и тут же расстрелянных. С правосудием старого образца было покончено. Началось строительство нового мира.

Последняя одесская любовь Митрофаныча

Страница одесского журнала «Огоньки» от 27 (14) июля 1918 года отдана сообщению: «Наши писатели на отдыхе».

«Одесса в данное время стала местом, куда съезжаются на отдых наши любимые популярные писатели. За 16-й станцией, у монастыря, на даче живет целая литературная колония.

Здесь краса и гордость современной литературы: академ. Иван Бунин, и автор нашумевшего «Бирючьего острова» Ал. Кипен, и акад. Д.Н. Овсянко-Куликовский, и популярный А.М. Федоров, и начинающая молодая писательница Л. Знойко. Вместе на одной фотографии сняты талантливый С. Юшкевич и выдающийся еврейский поэт Х. Бялик».

На журнальной странице шесть фотоснимков названных авторов. На нижнем справа – молодая женщина у самовара – Л. Знойко. У нее узкое лицо, копна темных волос, полные губы, большие глаза. Ей должно быть около 30.

Первые ее публикации, которые мне удалось найти – в журнале «Нива». Рассказ «В подворье» за 1917 год и «Курсистка» и «Звезда» – за 1918 год. В том же году – шесть публикаций в одесском журнале «Жизнь», и еще одна – 1919 года, в одесском же журнале «Огоньки». Чем не начинающая и, добавим, плодовитая писательница?

О ее появлении в жизни Митрофаныча мы узнаем из дневника Веры Буниной в записи от 3 июля 1918 года:

«Федоров влюблен в писательницу Знойко и считает ее лучшей из всех писавших на земле»¹¹⁵

Продолжение темы – 12 июля:

«Вчера Митрофаныч читал много стихов. Он сделал большие успехи. Сильный в нем ток напряжения. Главное в стихах – любовь к Знойко. Вот вечно юный. Ян очень радовался его стихам. Все были довольны. Как приятно, когда автор читает хорошие вещи».

19 июля Федоровы отмечают двойной праздник, и присутствовавшая на нем Вера Николаевна записывает:

«Вечером у Федоровых – рождение Ал. Митрофаныча и день свадьбы Вити.

Ал. М. сегодня 50 лет. Что же сделано им за полвека? Написано много стихов, рассказов, драм, романов. Лучшее у него – стихи, но тоже не первоклассные. В этом году он

¹¹⁵ Здесь и далее фрагменты из дневника Веры Буниной 1918-1919 годов. Русский архив библиотеки университета города Лидс. Великобритания. (Далее – РАЛ.)

сделал большие успехи в сонетах и других стихах, хотя тема одна – любовь. Но в этом он неиссякаем, тут такое напряжение тока, что дай Бог молодому.

Теперь он уже дедушка, имеет отличный дом, сад, перед глазами море. Сын – талантливый подающий надежды художник. Жена деятельная, энергичная женщина, отличная помощница в жизни и литературе, а он все же душой, всем сердцем не дома, так и рвется в Монастырь, но не для размышлений, а для любви...»

Речь об Успенском монастыре, «огнистый крест» которого хорошо был виден из дома Федоровых. Действительно, замечательное место для романтических свиданий, а главное, идти до него недалеко – не более четверти часа. Но постепенно страсть разгорается до того, что свидания перемещаются из монастырского сада в собственный.

Возлюбленная приезжает даже на именины Александра Митрофановича, т.е. она входит в дом, хотя Лидия Карловна не может не догадываться о ее роли в жизни супруга.

23 октября подруга семьи – одесская писательница Елена Васильевна Недзельская приезжает к Федоровым и, направляясь через сад к дому, о ужас-ужас, обнаруживает, что хозяин «нажигает в кустах Знойку», – именно так описала эту сцену в своем дневнике Вера Николаевна, предоставляя своим будущим читателям возможность самим разбираться со значением глагола, которым она решила воспользоваться для описания любовной сцены.

Тут представляется уместным сказать несколько слов о Елене Васильевне, которой предстоит появляться на страницах этой истории. Она – еще один бесследно исчезнувший автор начала XX века, сидевшая за одним столом с великими современниками и надевавшаяся остаться в истории вместе с ними, причем не в качестве участницы веселого застолья.

Портрет Недзельской, правда, не назвав ее по имени, нам оставил Катаев – в «Траве забвения».

«Она была не только толстая. Она была мощная, могучая. Щекастая. С круглыми мускулами по сторонам небольшого ротика. С твердым яблочком подбородка. Черноволосая, чернобровая, с калеными щеками, властная и в то же время так мило, чисто по-женски млеющая между двумя знаменитыми академиками»¹¹⁶.

Эти академики – Бунин и редактор «Вестника Европы» Овсяннико-Куликовский, бежавшие в Одессу от красных в 1918 году.

Бунин говорит о ней: «Вам, Елена Васильевна, не хватает маленьких черных усиков, и вы – вылитый... Петр Великий».

Катаев находит еще один способ уколоть писательницу, чей рассказ был опубликован в престижном «Вестнике Европе»:

«Теперь она уже как следует вошла в русскую литературу и чувствовала себя прекрасно.

Я, например, не вошел, а она вошла!»

В катаевском тексте очевиден временной сдвиг – рассказ Недзельской «Слепая» был опубликован в названном издании в 1915 году, а действие «Травы забвения» происходит в 1918-1919. Но с полувекового расстояния трехлетний зазор не кажется автору значительным, ему важна не дата публикации, важно показать собственную ироническую оценку ее успеха в виде юношеской зависти – я еще не вошел в литературу, а она вошла!

О, эта зависть! О, роковая эфемерность публикаций в престижных журналах! О, эта головокружительная мечта о писательской вечности пушкинско-шекспировского образца!

Задолго до того, как Катаев позавидовал Недзельской, последняя дико позавидовала Знойке и возненавидела Федорова. Почему? Да по той же причине. Вера Николаевна рассказывает в своем дневнике, как возмущается Елена Васильевна по поводу того, что Федоров представил Знойку в местном журнале как его сотрудницу! Боже мой, но почему?!

¹¹⁶ В. Катаев. Избранное. С. 124.

Почему ее, эту девчонку, представил, а ее – Елену Васильевну – нет?! Какая чудовищная несправедливость, особенно остро ощутимая для читателя этого текста, до последних минут не знавших о существовании ни Л. Знойко, ни Елены Васильевны Недзельской, ни об одесских журналах «Жизнь» или «Огоньки», тихо истлевающих на архивных полках Одесского литературного музея. Последних живых свидетелей кипения редакционных страстей. Даже удивительно, что при таком их накале наградой подавляющему большинству их участников служит безвестность, а не бессмертие.

Вера Николаевна над этой любовной ситуацией, кажется, посмеивается, видя в ней пищу для досужих дачных пересудов. И она, и это даже странно, не замечает другого – чувств Лидии Карловны, чувств обманутой на глазах у всех женщины. Хотя она замечает, что та – отменная хозяйка и верная помощница мужа в его литературных делах. Митрофаныч же для нее просто герой-любовник, над которым можно посмеяться, но не осудить. Она рассказывает, как, возвращаясь со своей спутницей из райских кущей на балкон, где, очевидно, находятся другие гости дома, Митрофаныч поправляет рукой роскошную шевелюру и замечает: «Какая гроза!»

Еще одна анекдотическая сцена, описанная в дневнике от 4 февраля 1919 года.

«Вчера были у Недзельских, застали у них Федорову. Она третий день там, так как трамваи не ходят. Федоров пишет роман. Героиня – Знойко. Девушка-курсистка, которая хочет быть профессором.

– Это – банально, если она чистая девушка, – сказал он, обращаясь к жене во время работы, – не лучше ли, Лида, сделать, чтобы у нее было падение, это усложнит ее душу.

– Нет, это еще банальнее, у кого теперь нет падений, – возразила Лидия Карловна».

Могла ли любовная связь с Лидией Знойко стать причиной того, что Александр Митрофанович покинул семью? Могла. А возможно, это Лидия Карловна попросила его уйти из дому, устав быть посмешищем в глазах близких ей людей: Буниных, Недзельских, Нилуса, многих других. Более чем посмешищем. Муж поставил ее перед мучительной необходимостью документировать свои похождения в своих художественных произведениях. Какая женщина способна выдерживать такое так долго, как это выдерживала личный секретарь Митрофаныча – его несчастная супруга?

Отъезд отца

Интересно вот что – бурный роман Митрофаныча и Знойко развивается, что называется, на фоне исторического катаклизма. Судя по дневниковым записям Веры Николаевны, роман по меньшей мере длится с июля 1918 года по февраль 1919-го. За это время в Одессе побывали австро-германцы, войска гетмана, войска Директории и, наконец, французы! Да что Одесса, империя рушится, а мой герой приятно проводит время в кустах с молодой любовницей. И ведь ненастья эпохи не обходят его стороной!

19 апреля 1919 года Бунин делает запись:

«Был А.М. Федоров. Был очень приятен, жаловался на свое бедственное положение. В самом деле, исчез последний ресурс – кто же теперь снимет его дачку? Да и нельзя сдавать, она теперь “народное достояние”. всю жизнь работал, кое-как удалось купить клочок земли на истинно кровные гроши, построить (залезши в долги) домик – и вот оказывается, что домик “народный”, что там будут жить вместе с твоей семьей, со всей твоей жизнью какие-то “трудящиеся”. Повеситься можно от ярости!»¹¹⁷

Иными словами, Федорова уплотнили, как попытались в то же время уплотнить самого Бунина. Ивану Алексеевичу удалось избежать этой напасти благодаря вмешательству

¹¹⁷ Иван Бунин. Окаянные дни. Лондон: Заря, 1977. С. 58-59.

жившего в это время в Одессе Максимилиана Волошина и связям Петра Нилуса. Они открыли в особняке, где квартировали Бунины, детскую художественную школу. Вера Николаевна стала ее заведующей, художники – педагогами, учениками – дети друзей и знакомых.

Вопрос о трудоустройстве стоял остро перед всеми, поскольку речь шла о жизни на советский паек или голодной смерти. Нилус пытается оправдать готовящийся поход за работой в Агитпросвет: «Искусство выше всего, и нельзя отказываться от того, что возвышает жизнь!» Бунин дает ответ, который впоследствии цитировался как стандарт отношений художника и власти: «Уж если нечего есть, так служи где-нибудь писцом или чем хочешь, но отдавать им самое дорогое – никогда!»

Узнав, что от сотрудничества с большевиками отказался его приятель Александр Абрамович Кипен, Бунин приходит в восторг: «Вот молодец! Да, если бы побольше таких, то не так легко было бы нас завоевать!»

30 мая Вера Николаевна делает запись в своем дневнике о том, что Нилус и Юшкевич едут на лошадях к Федорову, уговаривать его пойти на работу к новым хозяевам. «Лошади» – важная деталь. При новой власти электрический трамвай не ходит. Но искусство не трамвай, поэтому Нилус продолжает настаивать на том, что долг художника продолжать трудиться при любом режиме.

«Вечером Нилус рассказывает о своей поездке к Федорову. Ехали в отличном экипаже. Федоров сначала колебался, но под давлением жены согласился»¹¹⁸.

2 июня Вера Николаевна сделала новую запись:

«Рано утром у нас взволнованный Федоров. Пришел пешком с Фонтана, чтобы отказаться от поступления в Агит-Просвет.

– Нет, не могу, потерял покой после того, как согласился, – говорит он волнуясь. – Лучше голодать, чем работать с ними! Все равно толку у них не выйдет. Лучше идти на техническую работу, по крайней мере, ответственности не будешь нести.

Ян одобряет и поддерживает его».

Федоров снова появляется в дневнике Веры Николаевны 24 июня. Он приходит рано утром в дом на Княжескую, 27, и вместе с Буниным они выжимают только что выстиранное Верой Николаевной белье – быстро и весело. Вера Николаевна делает запись о Федоровых: «Они не голодают. Жена целый день занята хозяйством».

Из того же дневника мы узнаем, что Бунины живут почти впроголодь, один день у них на обед отварные кабачки, на другой – картофель с муляями, так Вера Николаевна, на французский манер, называет черноморские мидии. Город живет сообщениями о расстрелах. В числе жертв новой власти – судейские, ученые, медики, чиновники. Рассказывают о чудесных спасениях, в частности, о художнике Петре Ганском – его выкупили из ЧК за 70 тысяч рублей. Вести о еврейских погромах чередуются с вестями о восставших под Одессой немецких колонистах, которые встретили с оружием красноармейцев, прибывших к ним за лошадьми и зерном.

С первых чисел августа город наполняется слухами о готовящейся высадке добровольческого десанта и эвакуации красных.

Десант Добровольческой армии высадился ранним утром 23 августа. Легко представить семейство ошарашенных Федоровых, наблюдающих, как колонна освободителей проходит по люстдорфской дороге мимо их дома. Днем добровольцы вошли в город. Красные бежали, не оказав сопротивления. Наконец-то Бунин, Федоров, Нилус и многие

¹¹⁸ Устами Буниных. Посев, 2005. Т.1. С. 213. Цит. по электронной версии в сетевой Библиотеке М. Мошкова:

http://az.lib.ru/b/bunin_i_a/text_1810-1.shtml

другие авторы нашли работу по сердцу – в добровольческом варианте Агитпросвета – газете «Южное слово». Став редактором ее литературного отдела, Бунин, кажется, сполна получил за свои страдания, на работу его теперь возил персональный шофер в авто с триколором у ветрового стекла.

Счастье было недолгим – через два-три месяца в городе начались разговоры – куда бежать: в Крым, на Балканы или в Париж? Странно, но в этой трагической атмосфере работали театры, собирались литературные кружки, авторы читали свои произведения. В ноябре газеты сообщили о создании комитета по подготовке празднования 25-летия творческой деятельности Семена Юшкевича. В состав комитета вошли Бунин и Федоров. Торжество состоялось 19 декабря. Сообщение о нем – последнее документальное свидетельство об одесском периоде жизни А.М. Федорова. Недели не прошло, как он поднялся на борт болгарского парохода «Витязь», навсегда простившись с городом, в котором прошли самые творчески насыщенные годы его жизни. Вместе с ним ехал Петр Нилус.

Началась массовая эвакуация. Целью жизни стало приобретение места на пароходе союзников. Бунин описал один из этих пароходов глазами очевидца, в рассказе 1921 года «Конец»:

«...кого только не было на нем! Были крупнейшие мошенники, обремененные наживой, покинувшие город спокойно, в твердой уверенности, что им будет неплохо всюду. Были люди порядочные, но тоже пока еще спокойные, бежавшие впервые и еще не вполне сознавшие всю важность того, что случилось. Были даже такие, что бежали совсем неожиданно для себя, что просто заразились общим бегством и сорвались с места в самую последнюю минуту, без вещей, без денег, без теплой одежды, даже без смены белья, как, например, какие-то две певички, не к месту нарядные, смеявшиеся над своим нечаянным путешествием как над забавным приключением. Но преобладали все же настоящие беженцы, бегущие уже давно, из города в город, и, наконец, добежавшие до последней русской черты»¹¹⁹.

По крайней мере, частичное объяснение поспешного бегства Федорова и Нилуса сводилось к банальному опасению за жизнь. Все то время, пока город находился под контролем Добровольческой армии, Александр Митрофанович с присущим ему страстным пафосом клеймил большевиков. Его внук Вадим со слов деда знал, что тот выступал под псевдонимом Маленький Барабанщик, но кто скрывался за этим псевдонимом, тайны не представляло. Нилус тоже проявил себя. Если весной он принимал участие в украшении города к Первомаю, то в сентябре активно участвовал в подготовке празднования Дня Добровольческой армии. Местная пресса отметила среди других хорошо потрудившихся художников Петра Александровича, автора эскиза плаката, вывешенного над городской Оперой – «Сила большевиков – ложь!»

Федоров и Нилус отбыли в Варну 25 декабря 1919 года, по новому стилю – 6 января 1920-го. Бунин с Верой последовали за ними через месяц – 24 января 1920 года на французском пароходе «Спарта».

Нам неизвестно, как Александр Митрофанович простился с семьей. Неизвестно, было ли прощание.

Косвенно версию о семейном разрыве подтверждает, во-первых, то, что в порту Александра Митрофановича, кажется, не провожал никто из его родных, во всяком случае, Вера Муромцева не упоминает никого из них; во-вторых, он уехал из Одессы в последних

¹¹⁹ И. Бунин. Конец. Цит. по электронной версии в сетевой Библиотеке М. Мошкова: http://az.lib.ru/b/bunin_i_a/text_2010.shtml

числах декабря 1919 года, а его связь с Лидией Карловной установилась только в августе 1920 года. Это восемь месяцев молчания!

Пожалуй, мы не рискуем сильно ошибиться, сказав, что оставляя в Одессе 53-летнюю супругу, 51-летний беглец смотрел на эмиграцию как на новый, не обязательно трагический, поворот судьбы. В конечном итоге он был популярным литератором, полным сил и уверенности в себе.

Есть еще одно косвенное указание на семейный разрыв. В сентябре 1921 года Елена Васильевна Недзельская с мужем и дочерью бежали в Бессарабию и осели в Кишиневе. Финансовое положение их было отчаянным. На одном из их писем В.Н. Буниной есть приписка о том, что письмо было отправлено с двухнедельным опозданием «по бедности», т.е. не было денег на марку. И тем не менее в мартовском письме 1922 года Недзельские пишут, что хотят вытащить из Одессы Лидию Карловну Федорову. Александр Митрофанович в это же время получал стабильное жалованье, но ни разу такого пожелания не высказал. Хотя прекрасно знал, что той грозит голодная смерть. История о том, что-де та осталась спасать дом, кажется весьма сомнительной. Никакой дом не спасают ценой жизни.

Но бежал ли он со своей Знойкой, как бежал герой Катаева – отец художника Димы – со своей «красоткой из “Альказара”»?

Мы можем ответить уверенно: нет. Красотка осталась в Одессе. Подтверждений этому несколько.

Нилус, поднявшийся с Федоровым на борт «Витязя», а затем деливший с ним крохотный номер в варненской гостинице, где их поселили по прибытии в Болгарию, ни о какой спутнице Федорова не говорит. Они все время были вдвоем. А вот в дневнике Веры Буниной есть короткая, но очень важная запись, датированная 18/31 январем 1920 года – «У Знойки умер отец». И это – последнее, задокументированное событие из жизни писательницы Л. Знойко, из дошедших до нас.

Через неделю Бунины навсегда покинули Россию. После месячных мытарств в Константинополе они приехали в Болгарию, где их встретили Федоров с Нилусом. В Болгарии Бунины пробыли совсем недолго, отсюда они направились в Белград, а в конце марта уже были в Париже. Нилус часто пишет другу Ивану, рассказывая о своей жизни в Болгарии. 20 июня 1920 года он сообщает: «...Федоров, как ты говоришь, “подосрался”, изменил Знойке, дефлорирует двух курсисток, преподавателей»¹²⁰.

Как говорится, любовь прошла. Трудно сказать, кто остыл первым – Митрофаныч или его Знойка. Остыл ли он еще до отъезда из Одессы, поэтому и не прихватил ее с собой? А может быть, хотел прихватить, да она не могла уехать? Планировали ли они встретиться за границей позже – и встретились ли? Мы не знаем.

В Болгарии

После Одессы спокойная и изобильная Болгария показалась Федорову и Нилусу землей обетованной. Приняли беженцев как настоящих братушек, даром что совсем недавно болгары воевали против них на стороне кайзера.

Федоров и Нилус оказались в кругу ведущих болгарских литераторов, театральных деятелей, художников и ученых. В это время Федоров сдружился с директором национальной библиотеки Болгарии писателем Стилияном Чилингировым, ставшим одним из его настоящих ангелов-хранителей.

¹²⁰ Письма Нилуса Бунину. РАЛ.

В Софии Федоров снял комнату в доме полковника Желязова, получил должность преподавателя русского языка и литературы в гимназии, читал лекции в военном (юнкерском) училище. На одной из таких лекций его слушателем был сам царь Борис III.

Начало иммигрантской жизни Нилуса было еще более успешным. Уже в апреле в стенах столичного художественного училища состоялась его персональная выставка.

Два его майских 1920 года письма Буковецкому – добросовестные отчеты, которые должны помочь оставшемуся в Одессе другу составить четкое представление о том, на что он может рассчитывать в Болгарии. Второе письмо завершается выражением надежды на скорую встречу. Здесь же мы находим информацию о Федорове.

«Судьба связала меня с Митрофанычем, который *несмотря ни на что (курсив мой – В.Я.)*, товарищ неплохой, и поехали мы вместе на пароходе, и в карантине, и в Варне рядышком, потом жили в отеле в одной комнатке, величиной с обеденный стол. <...> Митрофаныч стал учителем русского языка в гимназии и получает 1000 левов в месяц – кое-как жить можно... <...> Митроф<аныч> очень тяготится уроками, впрочем ему обещают синекуру, он будет причислен к городской библиотеке, а директор библиотеки отпустит его на свою вольную работу – только, мол, не уходите от нас. <...> Митрофаныч имеет большой успех как поэт и особенно чтец, но денег за свое искусство почти не получает»¹²¹.

Подробно сообщая о собственных заработках, в частности о том, что лишь одна выставка – из пяти картин побольше и пяти маленьких – принесла ему 48 тысяч левов, Нилус заключает:

«Как видишь, я оперился и, кажется, являю собой всеобщую зависть среди “русняков” т.е. русских; конечно, я в лучших условиях, чем многие из них – имею в руках ремесло, по крайней мере, временно дающее деньги, но что будет впереди, когда вся Европа на дрожжах, не может успокоиться... Все было бы хорошо, если бы я не чувствовал, что страдаешь ты, сестра и друзья. От этой тяжести я, кажется, никогда не избавлюсь»¹²².

Письма Нилуса Буковецкому совершенно откровенны, и он, в частности, не скрывает от друга, что у них с Митрофанычем «уже есть приятели-пьяницы», с которыми они по преимуществу и общаются. Тем не менее в освещении именно этой стороны их иммигрантской жизни Нилус проявляет деликатную сдержанность. Совершенно иначе выглядит отчет, который Нилус шлет в Париж другу Ивану в июне 1920 года:

«Поведение и мое и Федорова улучшилось, меньше пьем, но одно время у него нога распухла и посинела как х_й и проступили на щеках кровавые печоночные прожилки. (Он тоже собирается в Прагу ехать. На каникулы.) Хотя Федоров, впрочем, как ты говоришь, “подосрался”, изменил Знойке, дефлорирует двух курсисток, препоганых. Я же чист, как алмаз, раз, впрочем, и я чуть не наделал глупостей. Собираемся мы по субботам у Попицини. Федоров читал стихи Майкова, Фета и Тютчева, три вечера. И этот сукин сын имеет наглость доказывать, что театр пошлость, что пьесу можно только читать, а что все лицедеи извращают писателя.

А стихи! Вот уж подлинно, это то, чего читать публично ни под каким видом оправдания нельзя: автор читает, это другое дело. Самое интимное и драгоценное куда-то проваливается, и остается чтец, который своей спермой и обмазывает автора, и чем лучше чтец, тем хуже для автора. Я его, сукиного сына, жестоко изругал.

Митрофаныч пописывает стихи и довольно часто. Раз приносит стишки в строк 200... Сюжет: плач по покинутому дворцу, гениальному сыну и проч. И хоть бы на медный грошик страдания, истинной тоски! Что это значит? Ведь не в Митрофаныче дело, а в том, что все иеремиады журналистов, писателей, все, что писалось и пишется о войне и большевизме, о

¹²¹ Петр Нилус. Письма из эмиграции. Одесса: Optimum, 2007. С. 44.

¹²² Там же. С. 46.

гибнущей России, лишено истинного негодования, скорби; даже лучшие, талантливейшие люди ничего не могут поделать.

Живем мы здесь не худо. Митрофаныч и я заказали себе по летнему костюму, я даже купил себе новую, отличную шляпу и ботинки. Впрочем Митрофанычу со мной не равняться, я – *nouveau riche*. Устроил выставку, и продал на 48 тысяч левов картин, причем еще 3 (лучших) остались! Правда, эти левы, как проворные тараканы, быстро разбегаются – вот была целая куча и уже немного осталось; но все же я чувствую почву под ногами. Впрочем, не все деньги и получил, сильно задерживает музей, да один заказ, а это составляет 16 тысяч, если не допущу – будет весьма и весьма тошно.

Пока что, от непрерывных пьянств – была такая серия – дает себя знать подагра, нужно ехать лечиться, а на лучших курортах жизнь очень дорога; есть надежда, что на курорте можно написать “излюбленные” виды и отбить затрату на лечение, во всяком случае, я хочу с этой целью ехать на самый дорогой курорт, куда съезжаются только богатые “софийцы”. Устроил я для болгарских и русских друзей пикник, который очень удался. Мы отправились пешком в Княжево, пировали там до поздней ночи, устроили манифестацию какому-то кучеру, потом не нашли ничего лучшего, как (в два ночи) пойти на вечеринку и там танцевать.

<...>

Наконец я нашел воистину прекрасное вино – пазарджицкое (город Пазарджик), которое не уступит многим европейским безбукетным винам. Только в том кабаке несвежая еда; раз отравился один полковник, до того, что упал без чувств и даже ранил нос, а потом и я “весь позеленел” – сказал Митрофаныч, мало того, скажу я, “покрылся предсмертным холодным потом”... но через час мы сидели уже в другом кабаке и пр. Вот так мы проводим наши “досуги”. Особенно был отвратителен один вечер, когда я поужинал 3 раза...»¹²³

Отрезвление

Загул Федорова и Нилуса завершился в августе 1920 года, когда последний в поисках более дешевой жизни и новых заказов отправился из Болгарии в Австрию. Накануне отъезда друга Федоров пишет Бунину:

«О своей семье до сих пор ничего не знаю, и эта неизвестность сводит меня с ума. Если бы можно было уехать в Одессу, я бы поехал, несмотря ни на что.

Напиши, что ты делаешь, как здоров. По-видимому, дела твои поправились, что очень нас с Петром радует. В Софию ты, конечно, не приедешь. Уедет Петр и я останусь в одиночестве. Помоги мне вырваться в Париж»¹²⁴.

Одна фраза в этом письме кажется не вполне искренней: «Если бы можно было уехать в Одессу, я бы поехал, несмотря ни на что». А что, собственно, останавливало? Пароходы ходили постоянно. Наверное, в Париж все же хотелось сильнее.

Теперь мы возвращаемся к вопросу: что стояло за восстановлением его связи с Одессой только через восемь месяцев после отъезда? Да, связь с Одессой была ненадежной и письма, бывало, пропадали, но связь была, что подтверждает сохранившаяся переписка Нилуса и Буковецкого. Почта тут ни при чем. Нам остается лишь предположить, что Лидия Карловна сама разыскала мужа, когда ситуация в Одессе приобрела драматический характер – арестовали Виктора и ей нужна была помощь. Нужны были деньги, и она обратилась к тому единственному человеку, который всю жизнь исправно обеспечивал ее – мужу.

¹²³ Письма Нилуса Бунину. РАЛ.

¹²⁴ РАЛ.

С августа 1920 года между Одессой и Софией устанавливается относительно регулярная переписка. Выясняется, что Витю арестовали в середине июня 1920 года. Александр Митрофанович узнал об этом в августе, сообщив об этом Нилусу, который тут же передал известие Бунину:

«Получил письмо от Митрофаныча. Оказывается Витя сидит в тюрьме в качестве заложника, что конечно обязывает Митрофаныча к молчанию – одним политическим работником меньше...»¹²⁵

10 октября Федоров пишет Бунину:

«Ты м.б. знаешь от Нилуса, что Витя у большевиков заложником. Два раза он был накануне смерти и два раза Бог чудом спасал его. Я имел неделю тому назад письмо от семьи. Там, видно, голодают»¹²⁶.

С большим опозданием Федоров-старший узнает, что июньский арест – второй. После первого – февральского – Виктора освободили благодаря вмешательству Котовского.

10 декабря 1921 года он докладывает в Париж новые подробности:

«Я уже писал тебе, что Витя дважды был накануне расстрела: один раз его сказочно спас Котовский, другой раз одесские профессора и художники, которые подали в ЧК петицию и его помиловали, как выдающегося художника. Все же он в их власти, лишен свободы и я с ума схожу вот уже два месяца в тревоге за него и за всю семью, которая голодает»¹²⁷.

Надя Ковалевская о первом аресте мужа

В 80-х годах прошлого века сын Виктора Федорова – Вадим решил записать воспоминания матери – Надежды Леонидовны Ковалевской на магнитофонную пленку. Она сохранилась в семейном архиве. Из этой записи следует, что после возвращения Добровольческой армии поручик Виктор Федоров мог быть снова мобилизован или же приписан к какому-то воинскому подразделению на случай активных военных действий или эвакуации.

Эвакуация началась 6 февраля 1920 года и продолжалась еще две недели. Армию вывозили в Крым. Виктору и его подразделению места на отходивших из порта судах не хватило.

Как рассказала Надежда Леонидовна, она, дети и Лидия Карловна жили в это время на Соборной площади, занимая квартиру друзей семьи – Ценовских. Глава семьи Антон Антонович был известным медиком, журналистом и музыкальным критиком. Из Одессы он уехал в Москву, где с 1923 года работал в качестве музыкального критика в газете «Труд». А в феврале 1920 года в квартиру на Соборной пришел посыльный, сообщивший, что поручик Федоров не попал на пароход и со своей частью направляется в Румынию. Вместе с Виктором был и его шурин Сергей Хрусталеv – муж Марии (Маруси) Ковалевской – старшей сестры Нади.

В семье быстро сообразили, что отступающие пойдут по Большефонтанской дороге и должны будут миновать дачу!

Надя, неоднократно проходившая от городской квартиры на Соборке до дачи, зная, что у нее уходит на 15-верстную дистанцию четыре часа, бросилась за мужем. Несмотря на то, что она была тепло одета, пока добралась до дачи матери, промерзла до костей – с моря дул ледяной ветер.

¹²⁵ Там же.

¹²⁶ Там же.

¹²⁷ Там же.

Мать сообщила, что отряд прошел час назад. Надя отказалась от предложенного чая и настигла мужа в Люстдорфе. Здесь же были Сергей и Маруся. Они провели вместе не более четверти часа, перед тем, как отряд возобновил движение.

Виктор посетовал на то, что впопыхах забыл перчатки. Надя сняла свои, но они были ему малы. Она тогда отдала ему шерстяные чулки.

Сестры вернулись к матери, где и заночевали.

«Очень грустно было, – вспоминала Надя. – Но мы были уверены, что скоро они вернутся и выбросят красных».

Месяц семья не знала о судьбе Виктора и Сергея. По слухам, они перешли Днестр в районе села Троицкое. Впоследствии Виктор рассказал ей, что румыны их приняли, накормили и устроили на ночлег, но в 4 утра всех подняли и сообщили, что отряд должен вернуться в Россию. Почему?! Румынские власти остерегались, что беженцы могут принести с собой тиф или холеру. Отряд двинулся на Тирасполь.

В дороге колонна подверглась нападению красных. За призывами сдаться без боя и обещанием помилования последовало ограбление. Снимали обручальные кольца, Виктору предложили на выбор – отдать либо бекешу, либо китель на меху.

Отряд – уже под конвоем – довели до Тирасполя. Здесь задержанных посадили в теплушку и отправили в Одессу. В дороге Хрусталеv рассудил, что если им не удастся бежать, то в Одессе их ждет ЧК и расстрел. Виктор вспомнил, что на одной из станций – по пути их следования – живет доктор, который был дружен с отцом и бывал на их даче. Он мог укрыть их. Им удалось выбраться из вагона и, когда состав ушел, разыскать доктора. Доктор направил их к себе домой, поручив заботам супруги. При виде беглецов та всплеснула руками: «Виктор, ты? Но почему такой вид?!»

Последовали объяснения, купание, облачение в докторские вещи, беглецов накормили.

Вернувшийся медик сообщил, что их новый постоялец – комиссар расквартированного на их станции отряда красных под командованием Котовского.

«Если вы столкнетесь с этим комиссаром, – спросил доктор, – как вас представить ему?»

Виктор ответил, что им нужно только одно – встретиться с Котовским лично.

Комиссар, порядочный и симпатичный, по пересказу Нади Ковалевской, человек, эту встречу устроил. И Котовский выдал Виктору и Сергею отпускные в Одессу как бойцам своего отряда.

Описанные события происходили в феврале-марте 1920 года. В это время Котовский командовал кавалерийской бригадой 45-й стрелковой дивизии. По словам Нади, именно с его помощью Виктор вернулся на старое место службы в прожекторную команду. Вместе с ним к этой же команде были приписаны Сергей Хрусталеv, младший брат Нади – Андрей и сама Надя – в качестве машинистки канцелярии. Из всех, кажется, только Хрусталеv попал на свое место – по образованию он был инженером-электриком.

Есть еще одно свидетельство, подтверждающее то, что Виктор попал в прожекторную команду, т.е. вернулся на старое место службы возле дома, благодаря Котовскому. Об этом говорится в показаниях арестованной в 1937 году Лидии Карловны.

Лущик, получивший в 90-е доступ к архивам КГБ, сообщает, что в протоколе допроса Лидии Карловны, написанном рукой следователя, говорится, что Котовский «встретил ее сына в растерянности в период отхода белых и помог ему устроиться в прожекторную команду»¹²⁸.

Это произошло в феврале 1920 года.

Все сходится.

¹²⁸ С.З. Лущик. Реальный комментарий к повести. Одесса: Optimum, 1999. С. 189.

Второй арест Виктора

Весной 1920 года Виктор с Надей, детьми и Лидией Карловной вернулись на Дачу Ковалевского. Маруся с Сергеем и двумя дочерьми жили рядом – на даче бежавшего миллионера Севастополю.

Службу рядом с домом, действительно, можно было получить, только располагая влиятельным покровителем.

Не все было совершенно гладко, поскольку приписанный к команде комиссар заявил, что муж и жена – он имел в виду Виктора и Надю – на одном военном объекте служить не могут. Как же быть? Ведь речь шла не просто о службе, а о пайке – бесценном в это голодное время. Виктор тогда предложил Наде развестись. В ЗАГСе Надя объяснила, что решила расторгнуть брак, поскольку муж оказался пьяницей. Комиссар, получив справку о разводе своих сотрудников, ею вполне удовлетворился.

Бедка пришла летом. На даче появились двое мужчин для конфиденциального разговора с Виктором. Одного из них Надя встречала на Фонтане и даже помнила фамилию – Крыжановский. Второго, темнолицего, похожего на румына, видела впервые. Виктор был еще на службе, и она предложила им дождаться его в беседке. Они дождались его и долго говорили о чем-то.

Когда ушли, Виктор объяснил Наде, что гости связаны с белым подпольем и по их данным в районе скоро будет высажен новый десант. Нужна помощь – отключить прожектор во время высадки. Предложили деньги, но Виктор вызвался сделать это бесплатно.

Надя бросилась за Сергеем, который, услышав этот рассказ, схватился за голову: «Как ты мог?! Ты их вообще знаешь?!»

Семья замерла в ожидании.

Тут уместно сообщить, что происходило в Одессе, оставленной в начале февраля того года белой армией и союзниками-французами.

3 марта в Одессу прибыл отряд чекистов в составе 79 человек под руководством Станислава Реденса. Заместителями Реденса стали Макс (Мендель) Дейч и Леонид Заковский. Задачей чекистов была ликвидация в городе всех, кто мог поддержать высадку еще одного десанта, если таковая будет иметь место.

Одесское губстатбюро опубликовало статистические данные за 1920 год. За 11 месяцев советской власти в Одессе в 1920 году ЧК было арестовано 10225 человек. Из них: расстреляно – 1418, отправлено в концлагеря – 1558, освобождено – 4644 человек. Об оставшихся – 2605 душах – в отчете ничего не говорится. На конференции одесских чекистов, отчитавшихся за годовую работу, прозвучали более скромные цифры «За первые 8 месяцев работы арестовано 8000 человек, из них 700 человек расстреляно с формулировкой “контрреволюция и белогвардейщина”, 3000 отправлены в лагерь».

Красный террор в Одессе поддержал гость города – нарком просвещения Луначарский. В письме Ленину он попросил того прислать в Одессу Дзержинского и поддержать своим «огромным авторитетом» местную ЧК. Дзержинский отреагировал на просьбу наркома, написав Реденсу: «Всё, что я слышал о вашей работе, свидетельствует, что вы полностью на месте...».

Дзержинский лично прибыл в Одессу в июне 1920 года и потребовал от местных товарищей «активизации борьбы с контрреволюцией». Отвечая конкретными делами на призыв начальника, одесские чекисты, как вспоминал зам. ГубЧК тов. П. Подзаходников, «уничтожили многочисленные контрреволюционные организации с сотнями членов».

Террор принял такие масштабы, что конференция беспартийных, проходившая в октябре 1920, потребовала ликвидировать ЧК. Ответ на требование был напечатан в одесских

«Известиях»: «Говоря о смертной казни, тов. Дейч указал, что фактически в рамках работы ЧК нет смертной казни, а есть расправа с теми контрреволюционными элементами, которые стоят на пути строительства рабочего государства... о необходимости гласного суда тов. Дейч указал, что в настоящий момент это невозможно».

Дело о «Врангелевском заговоре на маяке», к которому оказались причастными Витя Федоров и его шурин Сергей Хрусталева, могло быть подарком одесских чекистов начальству. Эту версию в свое время предложил Лущик.

В своих аудио-мемуарах Надежда Ковалевская вспоминала, как ее разбудил поднявшийся с постели Виктор. На часах было 5 утра.

– Что-то случилось? – спросила она.

– За мной пришли, – ответил Виктор.

– Кто?! Где?!

Виктор кивнул в сторону открытого окна: перед домом стояла группа красноармейцев с винтовками.

13 и 14 июня 1920 года была арестована вся прожекторная команда и члены их семей. Вместе с поручиком Федоровым из дому вывели Надю и Лидию Карловну. Детей пришлось оставить с садовником. По мере того, как конвоиры вели их в сторону 16-й станции Большого Фонтана, к ним присоединили арестованного Андрея Ковалевского, а затем и Сергея Хрусталева с Марусей. Первая остановка была на 16-й станции, где их допросили. Допрос вел чекист Вадимов, в котором Надя узнала артиста местной оперетты. Высокий, статный, в шинели до пола и в буденовке, он и в новой должности походил на опереточного героя. После проверки списков арестованных, женщинам разрешили вернуться по домам, а мужчин – порядка 40 человек – повели в город.

Осенью того же года признанные виновными по делу о «Врангелевском заговоре на маяке» были расстреляны. Ни Витя Федоров, ни его шурин в их число не попали. И это странно.

В 1996 году ветеран КГБ Марк Штаркман рассказал о своей службе в Одесском ЧК в 1920 году¹²⁹. Первым его заданием было внедрение в качестве рядового работника в прожекторную команду. Согласно его отчету, Сергей Хрусталева действительно занимался преступной деятельностью. Он был либо членом белогвардейского подполья, либо соучастником контрабандистов. При нем прожекторы работали со сбоями. Виктор Федоров был связным. После ареста всей команды работа была налажена. Если верить воспоминаниям Штаркмана, Виктор и Сергей должны были быть расстреляны. Но они уцелели.

Надя Ковалевская вспоминает, что после июньского ареста Витя и Сергей провели месяц и три недели в концлагере под Одессой. Скорее всего, речь идет о лагере в селе Березовка. Его пришлось создать после того, как узники заполнили до отказа городской, созданный на территории Кадетского корпуса, – всего несколько лет назад Виктора обучали здесь артиллерийскому искусству. В этом лагере содержалось 1200 заключенных. В Березовку Надя и Маруся возили мужьям продукты, но свидания были запрещены.

Если Виктор Федоров и его шурин были арестованы в середине июня 1920 года, значит, следуя воспоминаниям Нади, Виктора освободили в первой половине августа, а Хрусталева задержали еще на полтора месяца. Надя объясняла задержку тем, что чекисты хотели склонить Хрусталева к сотрудничеству.

И снова Александр Митрофанович узнает об освобождении сына с опозданием. 13 марта 1921 года он пишет в Париж:

¹²⁹ О. Ибрагимов-Капчинский. От «Рыси» к «Зеленому черту» // Новости разведки и контрразведки. М., 1996. №17 (74). С. 3.

«Милый Иван Алексеевич, спешу поделиться с тобой и В.Н. моей радостью. Сейчас получил телеграмму из Варны с парохода, пришедшего из Одессы. Витя на свободе, живет с семьей на даче»¹³⁰.

Через месяц следует более подробный отчет:

10 апреля 1921 г.

«Милый Иван Алексеевич, я слишком поспешил поделиться с тобой моей радостью. Из полученного от Л.К. письма я узнал к сожалению, что Витя был освобожден уже с надломленным здоровьем и, хотя он на свободе, после перенесенных потрясений и воспаления легких, у него кажется начался туберкулез. В доме нищета и голод, хотя Витя и состоит завед<ующим> художеств<енной> секцией ибо от военной службы он по болезни освобожден. Л.К. пишет, что он мог бы поправиться, но необходимо хорошее питание, а «дома как будто крысы выели», продавать больше нечего»¹³¹.

Осенью 1921 года в письме Вере Николаевне Александр Митрофанович рассказывает:

«Л.К. с детьми осталась на даче. Витя прикомандирован (?) к консерватории и живет с Надей в городе. Как будет дальше, выдержат ли эту зиму при тяжелых материальных условиях – не знаю. Прошлой зимой еще было топливо и рубили деревья, а нашу часть вносили мы на топливо мебелью. Хотел бы успокоить и ободрить Вас, но никак не могу»¹³².

Соболь

Для сюжета катаевского «Вертера» было вполне достаточно одного ареста и одного спасения главного героя. Но в жизни Виктор Федоров дважды оказывался в ситуации, которая могла для него окончиться расстрелом. Первый раз его спас Котовский. Кто же был его вторым избавителем от верной смерти в страшном гараже одесской ЧК?

По словам Александра Митрофановича, его мальчика спасли подавшие в ЧК петицию одесские профессора и художники. Сам Виктор, спустя много лет, вспоминает мать, вымолившую его спасение у престола Господня. Но Катаев, в чьей повести, кажется, нет случайных персонажей, рассказывает, что помощь пришла от другого человека – бывшего политкаторжанина, писателя Серафима Лося, хорошо знавшего главу одесской ЧК Макса Маркина. К Лосю пришла с мольбой о спасении сына мать художника Димы.

В Одессе первым назвал прототипа Серафима Лося Евгений Голубовский. Им был популярный автор начала 20-х Андрей Соболь. Догадка подтвердилась, когда С. Луцкич получил доступ к рукописи «Вертера». Первоначально Катаев называл этого персонажа его реальным именем!

Соболь относится к той же категории забытых авторов начала XX века, что и Федоров. Можно было бы сказать «незаслуженно забытых», но, согласитесь, как упомянуть и сохранить их всех, если на уцелевших, хрестоматийных, времени в наш стремительный век не остается? Что ж, тем интереснее открытия!

История жизни Андрея Соболя самым органичным образом вписывается в наше исследование, он – плоть от плоти своего века, его жертва, как и Федоровы.

Андрей Соболь, он же Юлий Михайлович Соболь, он же Израиль Мойсеевич Сوبель, родился в 1988 году в Саратове. В 18 лет от вступил в группу сионистов-социалистов, был арестован, судим и приговорен к четырем годам каторжных работ на «Колесухе». Так называлась Амурская колесная дорога, построенная для грузовых транспортных перевозок

¹³⁰ РАЛ.

¹³¹ РАЛ.

¹³² РАЛ.

между Хабаровском и Благовещенском. Здесь он сблизился с видными эсерами, здесь заболел чахоткой, отсюда бежал в 1909 году за границу. Первая мировая застала его в Париже. В 1915 году он вернулся в Россию, работал военным корреспондентом на Кавказском фронте, в 1917 стал комиссаром Временного правительства при 12-й армии, защищавшей Петроград.

До революции выпустил несколько книг прозы, но известность ему принесла повесть «Салон-вагон», которая вышла в 1922 году. В том же году он занял пост секретаря Всероссийского союза писателей. Его подпись стоит на членском билете С. Есенина.

На фото в Википедии – молодой человек с узким лицом, полными губами и шевелюрой Блока. По словам Катаева, профиль его напоминал лосиный – отсюда имя в повести – Лось.

С юности подверженный депрессиям, несколько раз пытавшийся покончить с собой, Соболев, в конечном итоге, преуспел в этом 8 июня 1926 года, застрелившись под памятником Пушкину на Тверском бульваре. Он выстрелил себе в живот, и в фольклорной традиции это было истолковано как последнее подражание поэту, скончавшемуся от аналогичного ранения.

Соболев не подражал Пушкину, хотя место для сведения счетов с жизнью было выбрано знаковое. Его проза была самобытной, живой и яркой, какой была в то время проза многих молодых литераторов, приехавших в Москву с юго-запада страны.

«Поезд, прорезав лесок, выплыл в степь, и вскоре июльская ночь полной горстью бросила в окна запахи трав и жарко распустившихся цветов, бросила щедро, богато, расточительно, как расточительна бывает только после дневного зноя летняя ночь, опоясанная степью»¹³³.

Катаев очень хорошо знал Соболева. В течение 6-7 лет жизнь двух молодых литераторов двигалась по одному маршруту из Одессы – через Харьков – в Москву. Именно близкое знакомство позволило Катаеву ввести в повесть даже такую небольшую деталь из биографии товарища, как его знакомство с начальником одесской ЧК по Колесухе. «...я не посмотрю, что мы когда-то вместе были на колесухе. Мы враги»¹³⁴. – говорит Маркин Лосю.

И даже повесть «Салон-вагон» отразилась в «Вертере». Рассказчик трагической истории художника Димы, как и герой Соболева – комиссар Временного правительства Гиляров, движется в прошлое на поезде-воспоминании. Их вагоны, покачивающиеся на ходу, постукивающие колесами, погружающие читателя в гипнотическое состояние, как будто находятся в одном и том же составе.

Характер писателя всегда присутствует в его тексте. И в готовности вчерашнего революционера Андрея Соболева вырывать из рук соратников по борьбе старых товарищей по литературной жизни, мы можем увидеть ужас комиссара Гилярова перед кровавым революционным террором, за который он несет личную ответственность, жертвой которого становится сам.

Со ссылкой на воспоминания воронежского театрального художника Николая Данилова, Лущик рассказывает, что Соболев, в 1919-20-е годы находившийся в Одессе, хлопотал о попавших в ЧК товарищах, пользуясь личным знакомством с начальником этого учреждения Максом (Менделем) Дейчем.

Среди спасенных Соболевым был и сам Данилов. В 1919-20-е годы он учился в Одесском высшем художественном училище, то есть был соучеником Вити Федорова! Данилов писал

¹³³ А. Соболев. Салон-вагон. Цит. по электронной версии в Библиотеке М. Мошкова: http://az.lib.ru/s/sobolx_a/text_0010.shtml

¹³⁴ В. Катаев. Избранное. С.57.

стихи, проводил много времени в кругу молодых литераторов, где и познакомился с Соболев.

Знал ли Виктор Андрея Соболя – неясно, но мы можем с большой долей уверенности говорить, что Соболев был знаком с Федоровым-старшим. Эта уверенность зиждется на том, что общность опыта обычно привлекает людей друг к другу. Соболев был земляком Александра Митрофановича, оба много скитались по миру перед тем, как осели в Одессе, в годы Первой мировой оба были военными корреспондентами.

Летом 1920 года, в своих метаниях между старыми друзьями семьи, несчастная Лидия Карловна могла узнать о чудесном спасении Витино соученика. Она встретила с Даниловым и, после разговора с ним бросилась к Соболю, в котором увидела свой единственный шанс спасения сына.

Как легко эта последовательность событий укладывается в простой жизненный сюжет, не правда ли? Отсюда, кстати, и упомянутая Александром Митрофановичем роль соучеников в освобождении Виктора.

Побег Виктора

История бегства Виктора Федорова из Одессы пестовалась его детьми, которые эту историю многократно слышали от матери – Надежды Ковалевской.

Лущик нашел последний документ о пребывании Виктора Федорова в Одессе, датированный 7 октября 1920 года. Дата и автограф стоят на эскизе агитационного плаката из фонда Одесского историко-краеведческого музея. Эта дата логично вписывается в хронологию событий Н. Ковалевской, из которой следует, что муж, арестованный в середине июня, мог быть освобожден в августе, а в октябре «малевал плакаты» в одной из художественных мастерских города.

Мы можем даже предположить, в какой именно мастерской. Осенью 1921 года А.М. Федоров сообщает Бунину, что сын прикомандирован к консерватории. Что значит прикомандирован? Наверное, это следует понимать, как то, что он служит при консерватории художником, изготавливая для нее транспаранты, лозунги, афиши, все то, что зовется наглядной агитацией. Такие художники были при всех советских учебных заведениях, учреждениях и производствах. Как он получил эту работу – мы не знаем, но знаем, что в это время в консерватории преподает его старый педагог – Виктор Селявин, известный своей готовностью помогать людям.

Но вот когда Виктор бежал из Одессы? В своих воспоминаниях Надежда Леонидовна говорит о переходе Днестра поздней осенью 1921 года.

«Но сначала они попались, – вспоминала Надежда Леонидовна. – Они шли к плавням через фруктовые сады. Осенью там масса ворон, и когда кто-то идет, они взлетают и кружат в воздухе со страшным карканьем. Они шли ночью, и вдруг эти вороны поднялись и начали каркать. На шум пришли пограничники и стали выяснять, кто они. Витя от отчаяния, на этот раз его бы точно расстреляли, стал так орать на пограничников, с матом: мерзавцы, вам что не сообщили, кто будет переходить? Короче, взял их на арапа, убедил их в том, что он – большой начальник. И те таки откозыряли и ушли. Так Витя оказался в Румынии».

Возможно Надежда Леонидовна ошибается. В автобиографии, которую Виктор писал для устройства на работу уже в Румынии, он указал, что перешел границу в 1922 году в районе Тигина – так назывались тогда Бендеры. О появлении Виктора в Кишиневе сообщают в письме Вере Николаевне Буниной ее старый одесский приятель Владимир Осипович Недзельский – супруг хорошо известной нам Елены Васильевны Недзельской. Письмо датировано 21 мартом 1922 года.

«Пока с нами живет Витя. Я в него немножко влюбился – так он мил, прост, красив, очарователен. Но очень слаб, мягок, мало годен к той тяжелой жизни, что суждена теперь нам всем. Даже большевистский ад не дал ему закала. Легко падает духом, смущается пред каждым. Мы уехали оказывается из рая еще, теперь там ужас, уже и нам непонятный. Рассказы Вити – а Вы знаете, как он краток и бледен в рассказе – приводят меня в трепет. Господи, слава тебе, что вывел меня и моих! Теперь у меня задача вывезти Л.К. Надю, детей и Кипена. Кажется, можно будет это сделать»¹³⁵.

Это же письмо Недзельского Вере Николаевне Буниной содержит деталь, которая может объяснить несовпадение во времени перехода границы, указанное Надей и Виктором. Недзельский сообщает, что перед переходом Днестра они с супругой и дочерью два месяца жили в Григориополе, расположенном на берегу Днестра – в 150 километрах от Одессы. Это позволяет предположить, что переход был не очень простым делом – приехал и тебя перевезли. Перевозчики должны были выбрать момент для переброски клиентов, возможно, согласовать это с пограничниками, стерегущими границу по обе ее стороны. Пока они выжидали этот момент, их заказчики жили у них дома, готовые в любой момент к переправе. Если это так, то и Виктор мог уйти из дому в конце ноября – начале декабря 1921 года, а переправиться в феврале-марте 1922. Несовпадение дат укладывается в те же два-три месяца.

18 апреля 1922 года Александр Митрофанович жалуется Бунину:

«Изболелось сердце о семье, голодающей в Одессе. Витя в Кишиневе, имеет большой успех, как певец и художник. Имеет хорошие заказы на портреты и остается покуда там, чтобы вырвать семью на зарабатываемые им деньги»¹³⁶.

Насколько реальны успехи Виктора в Кишиневе, судить по письму его отца нельзя. Александр Митрофанович, мы знаем, склонен к неадекватной оценке своего мальчика. Но, как следует из автобиографии Виктора, его художественная карьера в Румынии была настолько же успешной, насколько и неожиданной – в 1922 году он рисовал портреты на кишиневской улице, в 1923 был художником-декоратором в провинциальном театре живописного городка Крайова, а в 1924 году его нанял на работу Национальный театр в Бухаресте.

Такое стремительное развитие карьеры не редкость в жизни иммигрантов, особенно молодых, не обремененных обязательствами, готовыми работать до седьмого пота.

Одесса. От террора к голоду

В мае 1922 года Василий Недзельский пишет Буниным об оставленной им Одессе:

«Улицы переполнены голодными, так наз. “ревунами” – “я голодный, я хочу есть, спасите”. Дети бегают за проходящими с криками: “папочки, мамочки, есть хочу, хлеба, хлеба, хлеба”. Трупы валяются по улицам совершенно голые. Даже в центре. На Преображенской, против дома Папудовой, (напротив Соборной пл.) несколько дней лежала одна голова с седой бородой и с отъеденными собаками ушами и носом. Гриценко видел на одном квартале Прохоровской восемь трупов. Один уже без пальцев на ногах – собачье съело. Люди ходят на сумасшедших, исхудалые, ободранные, с безумными, блуждающими глазами. Продают вещи все, даже советские баловни, вроде тенора Селявина, у которого чекисты расстреляли сына, а его самого через неделю заставили дать концерт в чека. Хоронить своих покойников никто не может: похороны стоят 25-30 миллионов и теперь это дело государства. Трупы выставляют на обочины тротуаров, и они там лежат, пока не дойдет очередь очищения от трупов данного участка. Это показания беженцев, а вот из писем.

¹³⁵ Письмо В.О. Недзельского В.Н. Буниной. РАЛ.

¹³⁶ Письмо А.М. Федорова И.А. Бунину. РАЛ.

Пишет Л.К. Федорова: “Умер от тифа Сережа Хрусталева (муж Надиной сестры). Люди умирают молниеносно. Голые трупы лежат по всем улицам. На Пасху у нас был маленький куличек и 15 шт. крашенных яиц. Это на шесть человек. (Дети Хрусталева живут у Федоровых). Хотела купить фунт творогу – невозможно – фунт стоит миллион. Масло 1.200.000”. Надя Фед. пишет Вите на первый день Пасхи: “не знаю, почему мне так грустно? М. б. потому, что думаю, что никогда не увижу тебя или потому что на улицах слишком много трупов?” И это на Светлое Хр. Воскресенье в Одессе на Соборной площади!»¹³⁷

Сергей заболел во время поездки в деревню за продуктами. Это случилось незадолго до Пасхи и, вероятно, по этой причине на праздничном столе была невиданная по тем временам роскошь – 15 яиц-крашенок!

С несколькими товарищами Хрусталева арендовал для поездки в деревню теплушку. Перед отправкой ехавший с ними врач-ветеринар продезинфицировал ее. Обычная мера в годы Гражданской, когда тиф выкосил три миллиона человек. Поезда были одним из главных механизмов по переноске тифозных вшей. Экспедиция была удачной с коммерческой точки зрения – привезли муку, сахар, масло, но Сергей уже приехал с высокой температурой.

«Это был страшный 21-й год, – надиктовывала в стоящий перед ней микрофон Надежда Леонидовна резковатым старушечьим голосом. – Во всей России был голод. В Одессе – сыпной тиф, люди мерли как мухи. Гробов не было. Человек умирал, отдавали шкафы, чтобы делать гробы. Люди пешком носили гробы на кладбище. Мы с Марусей, моей сестрой, пошли за Сережиным гробом. Шесть человек пришли и понесли гроб. Из шкафа. Они уставали, останавливались. Перекуривали. А мы стояли и ждали. Снова несли, снова перекуривали. Прошли мимо Чумки.

Трупы складывали как дрова штабелями, если не было гробов. Страшно было смотреть. Сыпнотифозных и мертвых, умирающих складывали в помещение за городом, где были выбиты все стекла. Клали на пол. Были полуживые и мертвые. Рядом ходили голодные собаки и ели трупы. Отвезли человека, думали мертвый, а он лежал и через два дня кто-то его нашел еще живым. И он выздоровел, и рассказал об этом. Посылали людей с тачками, и они на них возили трупы к ямам, и там тоже скакали собаки. Посыпали известкой, потом, когда яма наполнялась, ее засыпали.

Один раз я шла и увидела что-то на рельсах. Показалось, что телячья голова или большая собачья. Был закат, и рельсы были красные. Страшновато было. Пустынная дорога. Вдруг вижу, идет человек с тачкой. Высокий, плечистый, рыжие от солнца волосы. В тачке трупы. Остановился и говорит: вот до чего дожили, и показывает на голову. Я: это собака? Он: нет, человечья голова.

Как-то на базаре покупала картошку. Рядом женщина говорит: смотрите, по картошке ползают вши. Эту картошку возят на тех же тачках, что и тифозные трупы.

¹³⁷ Письмо В. Недзельского В.Буниной. РАЛ. При присоединении Бессарабии к СССР в 1939 году Владимир Осипович Недзельский был арестован и расстрелян. В годы оккупации Одессы Елена Васильевна и ее дочь приезжали в оккупированную Одессу. Е.В. Недзельская в то время печаталась в одесских изданиях, а в 1943 году здесь вышла книга ее рассказов. После занятия Советской армией Молдавии и Румынии Е.В. Недзельская и её дочь Ирина были арестованы и приговорены к длительным срокам лагерей. Е.В. Недзельская умерла в заключении. Ирина вышла на свободу и возвращалась в Одессу, чтобы разыскать старых друзей семьи, бывала на Даче Ковалевского. Упомянутые в письме Л.К., Надя и дети – Лидия Карловна, супруга Виктора – Надежда Ковалевская и их дети – Леонид и Вадим. Кипен – одесский ученый, специалист по виноградарству и виноделию, писатель, друг Бунина и Федорова.

Голод был, и денег не было. Торговали вещами. Перед тем как купить хлеб, я брала какую-то простыню, скатерть, платье, пальто и несла продать на базаре. Перекупщики все покупали у интеллигенции и возили эти вещи в деревню. Первый, кого ты встретишь, дает всегда небольшую цену, но лучшую, чем остальные. Но ты надеешься, что продашь дороже, а следующие дают все меньше и меньше, и в конечном итоге продаешь за гроши. Но хватает хоть на кусок хлеба. Для взрослых был хлеб с гороховой мукой или еще с какими-то отрубями. Сыроватый такой. Для детей покупали серый хлеб качеством чуть получше. Я покупала фунт. Довесочки давали, чтобы вес был точный, крохотные кусочки.

Бабушка Лида сажала Леку, ему было 4 года, и Вадю, ему было 2,5 года, на подоконник и говорила им: посмотрите, там лошадки бегают, собачки, – что угодно, только чтобы отвлечь их от мыслей о еде. Я приходила, варили морковный чай, или яблочный, или мятный, ели хлеб.

Идешь по базару и только слышишь: я голодный. Мамаши сидят на полу с детьми, как скелетики. Плачут, протягивают руку, дайте копеечку. И так изо дня в день. Идешь на базар, продаешь что-то, покупаешь хлеб.

Иногда я предпринимала дальние прогулки. У нас была дача на берегу моря. Я выходила рано утром из дому и шла на дачу. Приходила на дачу уже в сумерках. На соседней даче жили мой брат и мама. Я ночевала у них, а потом шла на нашу дачу и выискивала, что еще можно было продать. Срезала обивку с дивана, с кресел. Это был плюш. Складывала в рюкзак и шла с ним обратно. Прощалась с мамой. После этого я могла несколько дней не ходить с мелочевкой, с простынями.

Бабушка пошла как-то в город, увидела – лежит на тротуаре девочка, прикрытая какой-то тряпкой. Женщина подошла, приподняла тряпицу, говорит: умирает уже второй день, все никак не умрет. Родители вынесли ее из дому, думали, что она умерла. Родители не стали вносить: все равно умрет.

В это время (1921 год) в городе были мы: бабушка Лида, Витя и я с детьми. Мы жили тогда на Соборной площади¹³⁸. А на Гулевой улице (*Льва Толстого – В.Я.*), которая вытекает из Соборной площади, жила моя сестра Маруся с мужем Сережей, двумя дочками Ирочкой и Милочкой и с его матерью. А моя мама и старший брат Митя жили на даче. Брат Андрюша к этому времени уже умер».

Побег Нади с детьми

Из письма А.М. Федорова И.А. Бунину мы знаем, что первую попытку перехода границы Надежда Ковалевская предприняла 2 июня 1922 года. Спустя 60 лет с небольшим Надежда Леонидовна оставила подробный рассказ об этом.

«Мы узнали, что в Одессе есть человек, который за деньги переправляет людей в Румынию. Нашли его, сговорились и назначили день. Нас повезли в пограничный город. Это было село Троицкое. Ночью за нами пришли два солдата и перевезли нас на румынский берег. Путешествие это окончилось неудачей – румыны вернули нас на русский берег, так как в Одессе была холера. Румыны боялись пускать людей, зараженных холерой. Посадили меня в ЧК. Это была не тюрьма, а нормальный, просто очень большой дом, под которым были большущие подвалы. В подвалах арестованные сидели до первого допроса. После допроса их отправляли либо в тюрьму, либо отпускали. Там были большие пустые комнаты,

¹³⁸ Надя говорит о квартире друга семьи Федоровых и Буниных – Антона Антоновича Ценовского в доме №2 по Соборной площади. А.А. Ценовский – врач, журналист, театальный критик. Двоюродный брат Анны Николаевны Цакни. Покинул Одессу и с 1923 года работал театральным критиком в московской газете «Труд».

светлые, потому что это были полуподвалы. У нас была комната узкая и длинная. Маленькая. Когда нас туда привели, нас было трое. На полу уже сидели две женщины. Мы познакомились с ними. Одна оказалась еврейкой, магазинной воровкой, очень интересно рассказывала, как она воровала материи всякие. Другая – проститутка. Рядом с нами была умывалка, в которую мы могли свободно ходить. Это было жаркое лето. Нас поразила чистота. Пол блестел. Оказалось, что они два три раза в день моют пол, чтобы было прохладно. Мы просидели там неделю, через неделю нас отправили в тюрьму. Мы маршировали через весь город в тюрьму под конвоем, прямо как настоящие преступники.

В тюрьме у нас была совсем маленькая камера, это были одиночные камеры. Там стояли привинченные крохотные табурет и стол. И потом была кровать, чугунная решетка, пристроенная к стенке. И только на ночь ее опускали и клали матрас. Пришли мы туда и поселились в этой комнате. И пробыли там вдвоем около месяца. В тюрьме была холера, рядом с нами в камере заболела женщина. Ее увезли, и сразу пошел разговор, что она не вернется, потому что умрет. Выпускали нас на прогулку два-три раза в день. Бабки, которые сидели там за воровство и убийство, голодали, потому что давали два раза в день какую-то баланду. Они рвали какую-то траву, бутылкой на полу ее растирали и ели, как салат. Но от этого салата они заболевали холерой. Потом к нам посадили четвертую женщину, которая пришла с прогулки и принесла с собой яблоки. Они там нападали в садике, и она их подобрала. Мы умоляли ее не есть их, потому что они зеленые и она может заболеть. Ее посадили к нам накануне нашего вызова в суд. А наутро ее увезли в больницу. Она кричала-упиралась: “я не хочу умирать”, но ее увезли, а нас – на суд.

В суде у нас оказался судья, два его ассистента, прокурор и даже адвокат, мы этого не знали! Адвокат сказал, что мол такие времена, и у них мол родственники за границей и их надо понять. Прокурор сказал, что если бы это были не три женщины и это был бы 19-й год, а не 1921-й, то я бы потребовал высшей меры наказания, но сейчас я прошу дать им три года условно. И нас отпустили.

Мы приехали домой, отдохнули, и я сказала, что уже ни о каких побегах думать не буду. Было лето, и у нас жила моя подруга Леля, с которой я должна была бежать первый раз, и ее девочка. Ее дальняя родственница жила уже в Болгарии, и она все время хлопотала, чтобы Лелю и ее девочку выпустить. И Леля все время поджидала, что за ней кто-то приедет. И кто-то приезжал, но все время неудачно. Потом Леля поехала в Одессу и вернулась в тот же день страшно взволнованная и сказала, что за ней приехал какой-то офицер. Он берет ее, ее тетю и дядю и везет в Болгарию. Попросила меня помочь ей уложить вещи, потому что в 11 часов вечера они приедут за ней.

В 11 часов вечера их не было. Она начала волноваться – как всегда будет неудача, значит никто уже не приедет. Я говорю: “Идем, выйдем на дорогу и посмотрим, может быть они идут”. Только мы вышли, я вижу – идут три фигуры. Один из них – этот офицер, и с ним два парня. Они объясняют, что это рыбаки, которые приехали с ним. Их ждет шаланда и надо ехать. Леля спрашивает: а тетя и дядя сидят в лодке? Они говорят: нет, они отказались ехать, они боятся. И он спрашивает, а нет кого-то желающих поехать в Болгарию? Леля поворачивается ко мне: “Ты поедешь?” Я говорю: “Нет!” Она: “Ну и дура!” Я говорю: “Едем!”

Я вернулась в дом и говорю бабушке, надо детей собирать. Она всполошилась: “Ты же говоришь, что уже не поедешь никуда?” – “Нет, я поеду”. Мы быстро собрали узелок, я взяла икону, какие-то вещички для детей, кусок хлеба, конфеты и яблоки. Собрались и пошли. Была лунная теплая ночь. Видно как днем. Конец августа. Мы шли: эти трое мужчин, я, бабушка, Леля, трое детей и еще наша соседка-приятельница. Десять человек. Мы шли такой цепочкой вниз.

А у пограничной стражи в этот день был какой-то праздник, и в доме, где они были, шла страшная пьянка. И это было на наше счастье. Мы идем, а Лека плачет: “Я больше не хочу к папе ехать”. Прodelав то путешествие, он больше не хотел ехать. А Танечка громким голосом говорит: “Лекочка, почему же ты плачешь, мы же едем за границу!” А ей тоже было 4 года. В общем мы сели в шаланду и поплыли. И мы плыли, плыли, плыли, а я думаю: где же эта моторная шхуна, дубок, который должен нас подобрать? Они расхохотались: “Это и есть дубок. Если бы мы вам сразу сказали, что предстоит плыть на шаланде, вы бы не поехали”.

И в этой шаланде были два офицера, мальчик одного из офицеров 10 лет и невеста одного из рыбаков. Всего девять человек. Когда берег исчез, они повернули направо и поехали вдоль берега. Ночь быстро прошла, утро было замечательное, мы уже подплывали к румынским берегам, они достали мангал, кастрюлю, сварили картошку, чай, и так это все было вкусно, и возле нас стали плавать и кувыркаться дельфины, и мы им бросали еду.

Шли под парусом, день был чудный. Рыбаки сказали, что идем в Констанцу, где нас ждет карантин из-за холеры. К вечеру вдруг поднялся ветер и началось волнение. Мы были убеждены, что утонем. А я говорила раньше, что по морю не поеду, потому что утону. И тут я подумала: вот я говорила, и я таки утону. Парус тут же сняли. Волны были как горы. Они вынули руль, чтобы не было никакого сопротивления. Лодка лезет-лезет в гору, потом – бац! Вниз, как в пропасть! Мы мокрые, из щелей – фонтаны!

Когда волны улеглись, они говорят: “Если бы это был дубок, он бы не выдержал, а шаланду швыряло как щепку, и поэтому мы спаслись”.

Моряки говорили, что 10 лет не видели такого шторма. Ужас. Волна за волной. Офицер все время вычерпывал воду. Один на веслах, второй на руле. Кончилось волнение, наступила ночь, начались видения. Это был кошмар. Рыбаков было двое. Старший Пимен, младший Васька. Пимен говорит: “Иди, ляг отдохни”. Вдруг Васька вскакивает: “Куда ты правишь?! Смотри, там же камни!” И мы все видим камни. Пимен говорит: “Молчите, камней нет”. Потом я слышу, как вода льется. Пимен говорит: “Васька, посмотри”. Васька: “Все в порядке”.

Утром мы приплыли к Варне. Нас закрыли парусом. Проплыли под мостом в озеро. На понтонном мосту были наблюдатели, поэтому нас закрыли парусом. Но те говорят: а чего у вас компас? А те забыли спрятать. Они говорят: “Был шторм, поэтому нам нужен был компас”.

Пимен ругал Ваську. Въехали в канал, в озеро. Офицер, который был с нами, повел нас в какой-то дом, и хозяин увидел, что мы странно одеты. Вадик был в бархатной шубке и в шапке. А был август. Стал расспрашивать: кто вы? Офицер сказал, что мы из какой-то местной деревни, но кто-то сказал, что мы из России. Леля встретилась с родными, но от нас потребовали, чтобы мы прошли карантин. Они с хозяином чуть не поссорились. Нас хотели накормить, а он грозил вызвать полицию, потому что такой был закон. Хорошо, мы поедем в карантин, но сначала они поедят. И тут открываются пакеты, и тут тебе и ветчина, и булки, и пирожные, все, чего мы не видели уже много лет.

После обеда нас отвезли в карантин, какой-то огромный забор, кладбище. Мы едва достучались, говорим: возьмите нас в карантин. Они говорят: вы откуда? Мы из России. Не может быть. Из России приезжают морем, а вы сами пришли. Уходите. Кое-как мы им объяснили, кто мы, нас приняли. А у них в карантине не было ни одного человека. Это были очень чистые бараки. Они выходили на берег моря, и там был фруктовый сад. Мы там жили как на даче. Потом приехал доктор. Нам дали пробирки для сдачи анализа на холерную бациллу. Кто-то из детей сел на горшок. Мы взяли из этого горшка и заполнили пять пробирок, написали на них разные фамилии и сдали. Потом пришли результаты. Оказывается, у меня, у Лени и у девочки все в порядке, а у Вадика – холера! Леля с Таней уехали, а мы там остались, ели яблоки и груши, ко мне приезжали гости, друзья дедушки, привозили пирожные и сладости, и в конце концов нас выпустили. Кто-то из дедушкиных

знакомых снял для нас комнату в Варне в доме полковника Околовского. В день нашего приезда его жена сделала болгарское блюдо гювеч. И вот мы сидим, разговариваем, я восторгаюсь тем, как это вкусно, и вдруг – стук, входят двое полицейских и спрашивают госпожу Федорову. В чем дело? Она должна вернуться в карантин. Мне позволили доесть, и я снова с двумя детьми через всю Варну под стражей отправилась в карантин.

На следующий день появился доктор и, страшно извиняясь, рассказал историю о том, что в газете появилась статья, что из России приехала богатая дама, больная холерой, но за взятку доктору ее выпустили. Нас продержали в карантине еще два дня. Когда мы приехали, мы уже встретились с дедушкой».

Как Федоров не попал в Париж

Русская эмиграция, хлынувшая на Запад после большевистского переворота, двигалась в Белград, Прагу, Париж, Берлин.

Осевший в Софии Александр Митрофанович быстро осознал, что оказался на отшибе, хотя в бытовом смысле устроился так, что иной мог бы ему позавидовать. Семья Желязовых, сдавшая ему комнату, окружила его такими теплом и заботой, что их дом по сути стал его домом. С помощью директора Национальной библиотеки Болгарии Стилияна Чилингирова он получил работу преподавателя русского языка и литературы в гимназии, а также читал лекции в Высшей военной академии, которую называл в своих письмах юнкерским училищем. В 20-х доход его был небольшим, но стабильным. Никакая иммигрантская пресса не могла дать аналогичный. Как отозвался Петр Нилус, «жить можно». Пока эта работа у него была, Александр Митрофанович не переставал на нее жаловаться, но когда в 33-м году ее не стало, он сообщил Бунину, что его постигла катастрофа.

Оторванность от именитых коллег, ощущение того, что жизнь уходит, подогревали стремление Александра Митрофановича перебраться в Париж. Его письма изобилуют горькими жалобами Буниным: «мне тяжело и тошно жить здесь», «живу я по-прежнему мученической учительской жизнью, бедно и нудно», «почти ничего не пишу: руки опускаются и живется тяжело, страшно однообразно: нигде, ни у кого не бываю». В одном письме он сравнивает свою судьбу с судьбой библейского Иова: «Дух мой расстроен. Мои дни угасают. Гробы предо мною». Понятно, что Париж манил, поскольку там жили близкие ему Бунины, другие, хорошо знакомые еще по Одессе, Москве и Санкт-Петербургу литераторы, и он считал себя вправе рассчитывать на их помощь с получением визы и устройством на работу.

Впервые Федоров обращается к Бунину с просьбой походатайствовать о французской въездной визе в августе 1920 года, – накануне отъезда Нилуса из Софии в Вену.

«Милый Иван Алексеевич, ради Бога, ответь, есть ли надежда устроиться как-нибудь в Париже, работать там в каком-нибудь издании, или продать свои сочинения, если не все, то хоть избранное. <...>

Я истерзан до последней степени и учительство держит меня в нищете, из которой не видно никакого выхода. <...> Уедет Петр и я останусь в одиночестве. Помогите мне вырваться в Париж»¹³⁹.

В декабре 1920 года новая мольба Федорова о спасении:

«У меня как у чеховской сестры (Три сестры) постоянно от утомления болит голова и я чувствую, как тупею день ото дня от этой плодотворной просветительской деятельности и от тех непомерных страданий, которые терзают мое сердце в связи с общими событиями и с моим мальчиком из тюрьмы. Милый Иван Алексеевич, я с ума сойду здесь или покончу с

собой, если пытка моя будет продолжаться. Думаю, что в Париже мне все же было бы легче, а заработать столько же, сколько я зарабатываю здесь, чтобы не умереть с голода, я думаю я мог бы и в Париже. Поэтому прошу тебя, постарайся исхлопотать мне визу и я оставлю свое мучительство-учительство и выеду из Болгарии в Париж, где мне несомненно будет все же легче дышать.

Целую тебя, твой А.Федоров»¹⁴⁰.

В письме от 2 февраля 1921 года Федоров снова напоминает Бунину о стремлении переехать: «Если виза возможна, ее надо приурочить к июню, концу летних занятий»¹⁴¹.

8 февраля 1921 года Бунин отправил Федорову ответ, лаконичный и довольно прохладный: «В Париж теперь попасть *невозможно*, никого не пускают, да и жить здесь тяжело ужасно»¹⁴².

В письме от 3 марта того же года Бунин добавляет:

«О Париже и не думай – легче на небо влезть, чем получить визу, кроме того, умрешь здесь с голоду. Прости за топорность и краткость, крепко целую»¹⁴³.

Проходит полтора года, и с той же просьбой – поспособствовать с переездом в Париж – к Бунину обращается Нилус. Пожив и поработав в Софии, Вене, Бухаресте и Белграде, внезапно для старого холостяка женившийся, он теперь ищет постоянное пристанище. Письмо, отправленное Нилусом из Бухареста 24 октября 1923 года, в полной мере передает его настроение и планы:

«Теперь я как блядь, сижу на выставке и смотрю на обувь; хороший гость – хорошие ботинки... А господ с хорошими ботинками почти нет. Здешняя богатая публика идет только на сугубую рекламу. Замечательное дело, всем, не имеющим хороших ботинок, мои картины нравятся больше, чем нужно.

Так вот, что я придумал: если вывернусь, еду в Париж, это единственный город, где кое-как можно теперь жить. Много иностранцев... Взять подмышку две-три акварели и пойти по отелям на охоту...

Да, сделал я большую глупость, нужно было в 20 году прямо ехать в Париж. Скитания по разным странам стали невозможны; не иметь своего угла, хотя бы темного, это какое-то путешествие с приключениями, а я этого терпеть не могу.

Итак, если можешь – выручай <...>. И будь добр, достань визу, при твоих могущественных связях это возможно, да ты как-то ее обещал.

Целую крепко, П. Нилус»¹⁴⁴.

Ответ Бунина, от 31 октября, полная противоположность тому, который он дал Федорову и которого упоминает:

«...если твердо решишь ехать в Париж, сообщи и я начну хлопотать о визе. Достать ее очень трудно и поэтому, повторяю, я буду ее доставать только в том случае, если ты непременно приедешь, а не подведешь меня, как недавно подвел меня Зайцев: просил достать визу, а когда я достал, он не воспользовался ею и уехал из Германии не в Париж, а в Рим!

Видел ли Федорова? Не говори ему, что я буду доставать тебе визу, а то и он начнет просить, тоже вздумает ехать в Париж.

<...> я постараюсь достать тебе из «Комитета помощи писателю» франков 500. Вообще сделаю для тебя все возможное. У нас лично на этот год надежды плохи, но думаю, что Бог

¹⁴⁰ Там же.

¹⁴¹ Там же.

¹⁴² Письма Бунина к Федорову 21-23 годов. Публ. А. Бабореко // Наше наследие. 1994. № 32.

¹⁴³ Там же.

¹⁴⁴ Письма Нилуса Бунину. РАЛ.

спасет как-нибудь. Во всяком случае на проезд до Парижа я с великой радостью вышлю тебе из собственной казны. У нас в нынешнем году квартира будет меньше прошлогодней, но, конечно, первое время ты можешь пожить у нас. Кстати, ты должен говорить при хлопотах о визе, что едешь к нам, что, значит, у тебя есть пристанище в Париже – иначе не пускают.

Целую тебя и ждем ответа.

Твой Ив. Бунин.

P.S. Подумал и еще раз говорю: рискни, рискни на Париж! Уехать из Парижа куда-нибудь всегда можно»¹⁴⁵.

И еще одно письмо от Бунина, датированное 14 ноября:

«Спешу сообщить, что хлопоты о визе начал через Mr. Eugene Petit секретаря Мильерана. Денег тебе сегодня выслал 500 фр.»¹⁴⁶.

Это «ничего не говори Федорову» дает достаточно ясное представление об истинном отношении Бунина к старому знакомому, хотя в письмах к Александру Митрофановичу постоянно присутствует и тема помощи с публикациями, и звучит искреннее сочувствие его несчастьям:

«Дорогой, всегда очень больно, когда пишешь про свое учительство, про Витю, про Лидию Карловну. Дай тебе Бог сил, обнимаю тебя сердечно»¹⁴⁷.

Больно-то больно, но не настолько, чтобы помочь с переездом.

Нилус переехал в Париж в конце 1923 года и поселились в том же доме на ул. Жака Оффенбаха, где квартировали Бунины. В этом доме он скончался весной 1943 года, здесь осенью 1953 его вдова Берта Соломоновна, «товарищ Берта», как он ее иронически называл, помогала Вере Николаевне обмывать и обряжать тело Ивана Алексеевича.

Это – дружба.

Ольга Решетникова пишет в объемной статье об А.М. Федорове «Я в чужой земле затерян»¹⁴⁸, что-де его удержала в Болгарии любовь к хозяйке дома, в котором он нашел приют – Невене Желязовой.

Другая исследовательница – Лилиана Владева сообщает в статье «Журналистская и литературная деятельность белой эмиграции»¹⁴⁹, что Федоров остался в Болгарии по рекомендации патриарха болгарской литературы Ивана Вазова.

Мы знаем теперь, что названные факторы могли иметь место, но не были решающими.

Личная жизнь и творчество А.М. Федорова в Болгарии

Наиболее подробное исследование болгарского периода творчества А.М. Федорова провела доктор филологических наук, профессор университета Велико-Тырново – Маргарита Каназирска.

«Первые годы эмигрантского пребывания Федорова в Болгарии были насыщены до предела, – рассказывает М. Каназирска. – Многочисленные выступления, лекции, благотворительные и поэтические вечера, обеды и ужины с деятелями болгарской культуры, поездки по Болгарии, встречи, дружеские беседы за стаканом вина в софийских

¹⁴⁵ РАЛ.

¹⁴⁶ РАЛ.

¹⁴⁷ Письма Бунина к Федорову 21-23 годов. Публ. А. Бабореко // Наше наследие. 1994. № 32.

¹⁴⁸ Ольга Решетникова. Я в чужой земле затерян. Электронная публикация на сайте «Фонда имперского возрождения». 10 нояб. 2008 г.: <http://www.fondiv.ru/articles/3/305/>

¹⁴⁹ Лилиана Владева. Журналистская и литературная деятельность белой эмиграции // Новый журнал. 2007. № 247. <http://magazines.russ.ru/nj/2007/247/vl15.html>

ресторанчиках. Русский писатель входил в болгарскую культурную среду; он не просто выучил болгарский язык, но со временем стал понимать его до тонкостей. В отличие от П.А. Нилуса, которому скоро пришлось покинуть Софию, жизнь А.М. Федорова выглядела более чем благополучной. Писатель преподавал в Первой и Третьей софийских мужских гимназиях, получил лекционные часы по русской литературе в Высшем военном училище, которое он в письмах называет Юнкерским, и Высшей кооперативной школе. Жизнь налаживалась и в материальном отношении.

<...>

Он интенсивно печатался в болгарских газетах и журналах, в местной эмигрантской печати (“Россия”, “Свободная речь”, “Балканский журнал”, “Русское дело” и др.), за границей (“Общее дело”, “Возрождение”, “Русская мысль”, “Руль”, “Сегодня”, “Русские записки” и т.д.). Все более тесными становились и контакты с болгарской культурой. Федоров составил “Антологию болгарской поэзии” со своими переводами, изданную Министерством народного просвещения и великолепно оформленную его сыном-художником»¹⁵⁰.

Два слова об этом сборнике переводов болгарских поэтов. Хорошо оплаченный труд Федорова-переводчика не привлек к себе особого внимания – ни специалистов, ни широкой аудитории. Болгарская и русская литература живут по сей день как добрые соседи, не особенно вникая в личные дела друг друга. Парадоксальным отчасти образом проделанная Федоровым переводческая работа хорошо оплачивалась и помогала выживать поэтам в той стране, из которой сам он так поспешно бежал. Силами лучших своих поэтов официальная советская культура поднимала на уровень самых высоких требований русской литературы произведения периферийных, если так можно выразиться, народов. Так в русскоязычную советскую литературу вошли литераторы не только республиканского, как это раньше называлось, значения, но и совсем малых народов.

Завершив работу над переводами болгарских поэтов, Федоров с присущим ему трудолюбием и целеустремленностью приступил к переводу болгарского фольклора, но это предприятие оказалось неудачным. До издания книги дело так и не дошло. Неудачной оказалась и попытка повторить этот же опыт с румынскими поэтами.

Работа Каназирской позволяет представить себе неутомимого и, главное, востребованного труженика литературы, беззаветно преданного высоким идеям просвещения. Но только переписка Александра Митрофановича со старыми друзьями и переписка этих друзей друг с другом дают полное представление о болгарском периоде его жизни. Письма И.А. Бунину содержат безостановочные просьбы помочь с публикацией его рассказов или переиздания книг, а главное – безостановочные жалобы на то, что печататься негде, а там, где печатают – не платят гонораров.

Вот отрывки из писем 1930-1931 года:

«Хочется написать роман и даже не один, задумано много, и как подумаю, что печатать негде, руки опускаются – и то у меня мертвым грузом лежит 6 больших рассказов и не плохих, а стихов новых хватило бы на целую книгу».

«Ах, если бы я мог издать хоть одну из моих книг. Главные рассказы, стихи, или в одной книге “Бадеру” и “Чудо”! А то совсем оказываюсь я за флагом, руки опускаются, а кажется, никогда не писал так, как теперь бы мог писать».

«Напечатал 5 больших рассказов в “Руле” и немного стихов – и ни гроша. Писал им и все напрасно – вот тут и пиши».

«Литература мне почти ничего не дает: вот 2 года печатали в “Руле”. Задолжали они мне за это время более 20 тысяч лев. До последних дней Гессен все обещал расплатиться и

¹⁵⁰ М. Каназирска. Вдали от берегов. // Новый журнал. 2011. №265. С. 89.
<http://magazines.russ.ru/nj/2011/265/ka9.html>

все ухнуло. Monde et l'Art тоже за 3-й номер не высылает ничего, несмотря на мои письма»¹⁵¹.

Надо сказать, что невозможность публиковаться, тем более зарабатывать литературным трудом, не остановили Федорова. За год до ухода из жизни он переслал внукам в Америку папку со стихами, и в ней – список своих произведений. В нем значится 60 (!) неопубликованных рассказов и около полутысячи стихов. В папке даже оказалась рукопись сценария для балета! Очевидно, что занятия литературой оставались для него своего рода психотерапией, формой эскапизма.

Как обстояло дело с публикациями в русскоязычной болгарской прессе? В период с 1921 по 1939 год в Болгарии выходило более 80 русскоязычных изданий. Александр Митрофанович был несменяемым председателем Союза русских писателей и журналистов в Болгарии, что, наверное, открывало ему дорогу к публикациям. Приносили ли эти публикации заработок? Скорее, гонорарными были тексты Федорова, которые С. Чилингиров переводил на болгарский для болгарской периодики. Да и сам Чилингиров нередко открывал свой бумажник, чтобы помочь своему несчастному другу¹⁵².

Главной и, может быть, единственной удачей А.М. Федорова на болгарской земле стала его встреча с семьей Желязовых. Перебравшись в Софию, Александр Митрофанович снял комнату в их доме. Скромного учительского жалования хватало на ее оплату. После смерти хозяина вдова Невена и ее дочь Лиляна заменили ему семью, благодаря чему в беспомощной и нищенской своей старости он не оказался на улице.

Какими были их отношения?

В письме Бунину, датированном 22 маем 1929 года, Федоров сделал трогательное признание:

««...страшно я здесь одинок и, вероятно, спился бы, если бы не прекрасная женщина-македонка, которая полюбила меня, как, может быть, никогда еще никто меня не любил и вот 10 лет почти около меня, как мой ангел хранитель»¹⁵³.

На характер отношений с женщиной-македонкой – речь идет о Невене Желязовой – проливает свет последний роман Федорова «Плеяды». Как и в других своих произведениях, автор не просто использует в качестве прототипов хорошо знакомых людей, он создает их копии, сохраняет реальные или близкие к реальным имена: сына, невестки, жены, знакомых и друзей. Вымышленная фамилия в романе только одна – писателя Александра Виссонова – альтер эго Федорова. Это исключение позволяет автору максимально облагородить характер главного героя – создать лучший вариант самого себя. Это не вполне получается, потому что по мере продвижения к финалу своего магнум опуса автор становится все менее адекватным участником реальной жизни, тайные фантазии царят в голове и на бумаге, от его искренности коробит.

Сообщив читателю страшную тайну – дочь домохозяйки – Лиляна – его дочь (!), Виссонов-Федоров объясняет, почему он не может открыть ей это и «освятить узы» их отношений:

«...он мог бы обвенчаться с ее матерью, но именно мать ее, из непонятного страха, оправдываемого отчасти лишь тем, что выходя замуж, она теряет пенсию, получаемую после мужа, а материальные обстоятельства их ухудшались день ото дня...»¹⁵⁴.

Роман, конечно, не жизнь, но если твои прототипы так узнаваемы и так благородны по отношению к тебе, стоит ли унижать даже их литературное подобие?

¹⁵¹ РАЛ.

¹⁵² Лиляна Владева. Журналистская и литературная деятельность белой эмиграции.

¹⁵³ РАЛ.

¹⁵⁴ А.М. Федоров. Плеяды. Главы из романа // Новый журнал. 2011, № 265. С. 138.

Он бы сам давно освятил эти узы, но «именно мать ее из непонятного страха», отказывается сделать это. Полноте, страх матери понятен – семье грозят абсолютно реальные нищета и голод! Как же не отдать должное практицизму приютившей его вдовы, ему – иждивенцу?!

Но в этой жалобе можно усмотреть и простое следование сложившемуся механизму художественного мышления и наработанной образности Федорова. Софийская сожительница Виссонова – родная сестра сожительницы Стрельникова из одесского романа «Его глаза»: «Уже немолодая и даже некрасивая, с злым извилистым ртом, но была умна тем звериным женским умом, который при любви становится гибок, чуток и цепок, как щупальца».

Можно предположить, что у этих женщин есть один главный прообраз – Лидия Карловна, живя с которой под одной крышей, Александр Митрофанович писал:

В глухую ночь, тропой знакомой,
Сошел я на берег морской,
Меня давили стены дома
И их удушливый покой¹⁵⁵.

Поэт, конечно, существо вольнолюбивое, но не всегда являющее собой образец благородства.

Прошел год после признания Бунину об ангеле-хранителе, как главное место в его сердце заняла дочь ангела – та самая Лиляна. Лилик. Начинаящая балерина. В письмах Бунину он намекает на то, что именно она стала его *femme fatale*, с которой он занимается живописью, фотографируется, учит русский язык и читает вслух стихи самого Ивана Алексеевича.

Как это в духе Митрофаныча! Точно таким же мудрым наставником юной девы был упоминавшийся выше Стрельников – его литературный двойник.

Но в письмах Федорова Бунину можно прочесть большее. Все известные нам пассии Федорова-страшего были служительницами муз: Анна Горенко, Лиза Дитерихс, Лидия Знойко. Искусство, сопричастность к нему, были той питательной средой, в которой расцветали романтические чувства поэта, в которой его сердце ударяло чаще и тревожней. И в случае с Лиляной он, может быть даже неосознанно, создавал ту поэтическую атмосферу, в которой мог любить по-настоящему, как это было в его прекрасном прошлом. Отсюда чтение вслух стихов Бунина. Отсюда любование интересом девушки к творчеству живого классика. Трудно сказать, что сдержало его – отношения с матерью Лиляны, опасения скандала и выдворения или общее состояние стареющего организма, но ощущение такое, что чувства эти в какой-то момент подошли к опасной грани.

Уже после смерти А.М. Федорова Лиляна, ставшая балериной в Софийском театре оперы и балета, говорила, что считает себя его приемной или духовной дочерью. Для нее он был выдающимся русским писателем, которого ждало на родине литературное воскрешение. Для ускорения этого процесса она привезла в Москву остатки его архива, передав Российскому фонду культуры. Очевидно, что Лиляна была менее требовательна к своему великовозрастному воздыхателю, чем юная Анна Горенко.

В семейных альбомах сохранилось несколько фотографий Александра Митрофановича с приемной дочерью, и ни одной – с ее мамой. Он, как всегда, в ладно сидящем на нем костюме или пальто, с тростью, она – юная, хрупкая, улыбающаяся, годящаяся ему во внучки. В этом видна приверженность идеалу: поэт стареет, идеал – нет.

¹⁵⁵ А.М. Федоров. Мой путь. С. 83.

В 1950 году С. Чилингилов написал воспоминания о Федорове, которые не внесли много нового в картину его жизни на чужбине.

«Последние годы Федоров совсем остался без работы и его содержание полностью приняла на себя семья, в доме которой он нашел приют. Правда, он получил крупную сумму денег за перевод народных песен, но он вложил их в ремонт дома хозяев, очень пострадавший от варварских бомбардировок англо-американцев»¹⁵⁶.

Интересно упоминание бомбардировок. Авиация союзников бомбила Софию в 1944 году, стало быть, невзирая на потерю педагогического места и отсутствие других, по крайней мере, значительных, доходов, какие-то средства у Федорова оставались.

Источник средств, на который указал Чилингилов, мог быть не единственным. В феврале 1934 года Александр Митрофанович оказался в числе русских писателей, которым Бунин оказал финансовую помощь, получив Нобелевскую премию. Сумма вспомоществования нам неизвестна, но февральское письмо 1934 года позволяет предположить, каким мог быть ее объем. Федоров пишет:

«Деньги из твоего фонда я получил и, так же, как ты, получив болгарские 2000 франков, заскрежетал зубами: ведь это первая благотворительная помощь за 14 лет моего пребывания в Болгарии. Видно, от сумы да от тюрьмы не отказывайся. Денег этих я разумеется и в глаза не видел, они сразу ушли на покрытие части моего долга за эти 5 тяжких месяцев без службы»¹⁵⁷.

Александр Митрофанович упоминает те 2000 франков, которые он помог Бунину получить от Министерства народного просвещения Болгарии в 1931 году. В письмах того времени он упомянул, что 2000 франков равны 10000 болгарских левов. Получив помощь от Бунина, он говорит, что денег не видел, поскольку все они ушли на покрытие *части* долгов, возникших за пять месяцев без работы. Это позволяет предположить, что бунинская помощь не превышала той, которую он сам получил из Болгарии двумя годами раньше, но и не была меньше обычного пятимесячного жалования Федорова, то есть 5 тысяч лев.

Как бы ни распоряжался Федоров своими более чем скромными доходами, понятно, что бесконечные заботы о заработке, мизерные гонорары и случайные уроки делали его существование мучительным, сам он неоднократно говорил о его унижительности. Но, как показывает жизнь, людям, постоянно находящимся в отчаянно стесненных обстоятельствах, удастся отложить на черный день больше тех, кто благоденствует. Что и позволило Федорову помочь семье Желязовых с ремонтом дома после бомбардировок 1944 года.

Отдушиной в его болгарских буднях были встречи с внуками, приезжавшими к нему на летние каникулы из Чехословакии. Он вез их в село Калиште, куда каждое лето выезжал с семьей Желязовых. Село находилось в двух с половиной часах езды на поезде от Софии. Чилингилов замечает, что село было совсем непримечательным, но Федоров был привязан к нему всем сердцем. В воспоминаниях Вадима Викторовича Калиште – волшебная страна, где все им с братом казалось совершенно необыкновенным: соломенные крыши и земляные полы крестьянских домов, арбузы и тыквенная каша, прозрачные воды Струмы, сушка конопли на речном берегу для изготовления из нее веревок, занятия деда живописью на пленере. Одно воспоминание с возрастом становилось все ярче – улегшись на траве в тени яблони, дед, сладко потягиваясь, стонал: «Ах, какое счастье, какое счастье...»

Не в эти ли минуты абсолютного блаженства, мог всплыть из сладкой полудремы образ любимой когда-то женщины:

¹⁵⁶ Воспоминания об А.М. Федорове. Рукопись. Цитируется по переводу мемуаров С. Чилингилова, сделанному М. Каназирской.

¹⁵⁷ РАЛ.

Ты стоишь в ароматном саду.
Все кругом тебя в вешнем чаду,
В блеске солнца, в мечтах, во хмелю,
И не знаю, кого я люблю:
Белорозовый сад-ли, тебя-ль,
Для кого мой восторг и печаль.
Я не знаю, где ты, где цветы.
Та же нежность и те же черты.
В ком весь зов этот вешний, весь хмель...
В этом белом раю-ли в тебе-ль
Не пойму я, и в толк не возьму,
Как все спуталось вдруг, почему?
Где глаза твои, вздох твоих уст?
И не ты-ль этот розовый куст,
Что с улыбкой мне дышит в лицо?
Не на ветку-ль надел я кольцо
Иль на перст твой с сквозным ноготком
Нежно-алым живым лепестком.
Пчел ли это гуденье, иль звон
Струн встревоженных ветром сквозь сон...
Божьих арф – белых яблонь и слив,
У которых верхушки их гриф?
Да и сам-то не знаю кто я:
Твой поэт или арфа твоя¹⁵⁸.

Л. К.

К своему герою – художнику Диме – Катаев относится снисходительно-высокомерно: барчук, не очень талантливый художник, мямля. Его отец – представитель ушедшего мира, которому просто нечего делать в новой стране. Но его сострадание к матери Димы, брошенной мужем и сыном, совершенно неподдельно. Сила этого чувства, наверное, объясняется тем, что Лариса Германовна/Лидия Карловна состарилась и обнищала на его глазах. Совсем недавно еще она была похожа на императрицу Екатерину Великую, царившую в знаменитом своей хлебосольностью доме, теперь Катаев не узнает ее, так она постарела, унижается, плачет...

Соседка Федоровых по даче – Екатерина Гавриловна Довгань (урожденная Бовшик) рассказала в 1980 году Лущику, что как-то поздней осенью 1921 или 1922 года она не смогла вернуться в город из-за метели и решила остаться ночевать у Лидии Карловны. Она застала у нее Катаева, который пришел проститься перед отъездом из Одессы.

Скорее всего это был 1921 год, когда Катаев уехал из Одессы в Харьков.

Можно предположить, что картина вырубленного сада, разоренного дома и оставленной мужем и сыном Лидией Карловны произвели на него впечатление, которое осталось с ним на всю жизнь.

Судя по письмам А.М. Федорова в Париж, положение Лидии Карловны после его бегства из Одессы было совершенно отчаянным.

¹⁵⁸ Стихи 1934–1948. Архив А.М. Федорова в библиотеке рукописей и редких книг Байнеке в Йельском Университете. (Далее – Архив Байнеке.)

10 октября 1920 г. «Получил письмо от семьи, там, видно, голодают».

6 февраля 1921 г. «Жизнь предана моим мукам о своих и тоске и беспокойству о моей несчастной семье, которая верно, умирает от голода».

10 апреля 1921 г. «В доме нищета и голод, хотя Витя и состоит завед<ующим> художеств<енной> секцией ибо от военной службы он по болезни освобожден. Л.К. пишет, что он мог бы поправиться, но необходимо хорошее питание, а “дома как будто крысы выели», продавать больше нечего”».

Апрель 1923 г. «Лидия Карловна в Одессе, была больна. Вырваться ей оттуда почти немислимо».

Апрель 1924 г. «...у Л.К. отняли бесповоротно дом и выгнали ее без права пользоваться даже на летние 1-2 месяца хоть маленькой комнаткой при кухне. Летом сдача дома давала ей кое-какое подспорье для зимы. Теперь она и этого лишена».

10 июня 1929 г. «...мои денежные дела у-у-жас-но плохи: приходится выплачивать здесь долги Лидии Карловны, которые она делает в Одессе, родственникам живущим в Софии».

1 января 1930 г. «...приходится уплачивать долги Лидии Карловны людям живущим здесь, а родные, у которых Л. К. занимала деньги, живут в Одессе. Одинокая, больная и страшно несчастная, она к тому же очень нуждается, хотя и работает (шьет) с утра до ночи».

17 октября 1931 г. «Л.К. нездорова и живет в Одессе мученицей. (Неразб.), чтобы сохранить дом для деток».

Июнь-сентябрь 1931 г. «...ты себе представить не можешь, как эта заячья жизнь измотала мне нервы. А тут еще невозможность регулярно помогать моей старухе, которая изнемогает от лишений в Одессе».

17 января 1932 г. «Л.К. прямо изнемогает от лишений и я бессилён помочь ей, как надо».

1 апреля 1934 г. «Л.К., которая бедствует в Одессе, хотя служит в библиотеке, да и Витя ей немного помогает. Ее месячного жалования хватает на неделю жалкого существования»¹⁵⁹.

Ко времени последнего упоминания Лидии Карловны относится стихотворение «Женщина седая», в котором автор представляет брошенную им в Одессе супругу:

Нет, никогда я не пойму,
Хотя бы мозг сгорел, страдая,
За что, зачем и почему,
Одна в покинутом дому –
Вся в черном женщина седая.
Не спит все ночи напролет.
Как скорбен лик ее бескровный.
И ходит-ходит взад-вперед –
Вдруг остановится, замрет
И все петливый шаг неровный.
О скалы бьет морской прибой.
Седая женщина все ходит
И говорит сама с собой,
И взор, сгорающий мольбой,
С икон к портретам переводит.
Подходит молча к одному,

К другому – и потом, рыдая
Глядит в окно сквозь дождь и тьму.
Одна, в покинутом доме.
Вся в черном женщина седая¹⁶⁰.

Трудно представить, что Александр Митрофанович не понимал, почему именно седая женщина осталась одна в покинутом доме. Ответственность за это лежала в первую очередь на нем. Но стихотворение это в большей степени говорит о состоянии автора, чем о положении его героини. Лидия Карловна, конечно, не могла не горевать об оставивших ее сыне, внуках, а может быть, по старой памяти – и о муже, но, ссылаясь на воспоминания соседей Лидии Карловны по даче, Лущик рисует ее совсем не такой, какой ее изобразил Александр Митрофанович.

Пользуясь тем, что при покупке дом был записан на ее имя, Лидия Карловна с 1926 года превратила его в пансион. Инерция старых знакомств определила характер ее заведения – здесь продолжали останавливаться деятели культуры, теперь уже советской. Поэтому ситуация ее не была критической.

Лущик сообщает, что Всеволод Мейерхольд с женой-актрисой Зинаидой Райх и пасынком – Костей Есениным проводили летний отпуск на федоровской даче в 1926, 1929, 1933 и 1935 годах. В августе 1930-го у Лидии Карловны останавливалась семья Олеши. Здесь отдыхали с семьями поэты Владимир Нарбут и Эдуард Багрицкий. Стол был обильным, но не дешевым. Вспоминается характеристика, которую дал Лидии Карловне Нилус – «баба дошлая», и аналогичная Веры Муромцевой – «женщина оборотистая».

И все же: как могло произойти, что она, единственная из семьи, осталась в Одессе?

Здесь уже говорилось, что в начале 1922 года жившие в Кишиневе друзья Федоровых – супруги Недзельские – хотели вывезти Лидию Карловну из Одессы. Но собиралась ли уезжать сама Лидия Карловна? Готова ли была к такому рискованному предприятию? Нелегальный переход границы требовал физических сил, которых у 56-летней женщины могло не быть.

Стоит ли тут обратить внимание и на слова Александра Митрофановича о том, что супруга осталась в Одессе, чтобы сохранить имущество семьи, которая могла еще вернуться домой?

По мере того, как становилось все очевиднее, что советская власть воцарилась надолго, переход границы становился все менее реальным, а возраст брал свое, Лидия Карловна, видимо, смирилась со своим положением и занялась делом. Она принимала постояльцев с 1926 по 1936 год. Когда ей исполнилось 70, она решила, наконец, отдохнуть и сдала дом в аренду Укрлитфонду. Она сохранила за собой комнату, и симпатизировавшие ей постояльцы продолжали относиться к ней как к хозяйке, хотя всем была понятна ее новая роль. Она была еще в ясном уме, о чем можно судить по прекрасным воспоминаниям о Чехове, написанными ею в 1936-м году. В отличие от супруга, она писала ясно и просто. Сохранив в памяти массу мелких подробностей своих встреч с Антоном Павловичем, она создала замечательно живой документ. Эти воспоминания являются также подтверждением того, насколько цельным и волевым человеком она была – на стиле ее письма никак не отразилось многолетнее печатанье под диктовку стихов и прозы мужа.

В 1937 году дирекция одесского Дома творчества начала агрессивную кампанию по расширению площади вверенного ей учреждения за счет окружающих дач. Чтобы избавиться от мешавшей начальству старухи, на Лидию Карловну написали донос, в котором говорилось, что она поддерживает связь с находящимися за рубежом сыном и мужем

¹⁶⁰ Архив Байнеке.

белоэмигрантами, получает от них валюту. Это косвенно подтверждает, что Виктор действительно поддерживал ее материально.

Лидию Карловну арестовали 14 октября 1937 года. Она была признана виновной в контрреволюционной деятельности и 29 октября того же года, по постановлению тройки УНКВД Одесской области, расстреляна. Лущик уточняет – застрелена. Ей был 71 год.

Из последнего автобиографического романа А.М. Федорова «Плеяды» следует, что его герой – писатель Виссонов узнает об исчезновении жены через живущего в Париже родственника, у которого осталась сестра в Одессе. У Федорова в Париже родственников не было, но в Париже жила Ирина Буковецкая – дочь оставшегося в Одессе Евгения Буковецкого. Он первым мог узнать об аресте Лидии Карловны, сообщил об этом дочери, а от нее уже весть добралась до Александра Митрофановича.

Для героя романа начинается время жутких предположений и слухов. 14 ноября 1937 года (это ровно через месяц после ареста!) его посещает страшное видение. На ночной улице Софии он слышит пронзающий сердце крик пролетающей над ним тени. Вернувшись домой, он пишет сонет, своей жутковатой образностью напоминающий стихи Эдгара По.

Глубокой осенью, в час полночи железной,
Когда сквозистый мрак бездушен и студен
И весь как бы пронзен алмазной нитью звездной,
Я мимо башни шел, тоскою изможден.
Внезапный плач иль стон, томящий и бесслезный,
Остановил меня. И к месту пригвожден,
Я, как слепец, себя почуявший над бездной,
Весь замер. Надо мной, виденье или сон,
Бесшумно промелькнул какой-то призрак странный
И поднял волосы движеньем крыл едва.
Дух ночи? Нет, всего сова, сова, сова.
Но сердце мне пронзил вещатель окаянный.
Я понял, что она, далекая, мертва
И с ней все умерло. Одна лишь скорбь жива¹⁶¹.

В последних своих стихах Федоров еще раз обратился к образу жены. Несмотря на то, что последние 28 лет жизни он провел в семье Невены Желязовой и был близок с ней, в его персональном поэтическом пространстве места для нее не нашлось. В письмах Бунину он отзывался о ней с благодарностью: если бы не она, он бы спился и умер. Это похоже на правду. Но в последнем автобиографическом романе Федорова подруга героя-писателя, прототипом для которой послужила та же Невена, наоборот, предстает в самом неприглядном свете: некрасивая, недобрая, неумная. В стихах же до последних дней царила его Лидия, постоянно напоминая о себе даже из другого мира. Думается эту запоздавшую любовь подогревало ощущение вины.

Уж ты давно в земле истлела,
И вдруг твой образ, как цветок,
Расцвел, и душу мне и тело
Воспоминанием зажег.
То, что ты взял от нас, о Боже,
Что уж испеплилось в золе,

¹⁶¹ А.М. Федоров. Плеяды. С. 131.

Душе становится дороже
Всего живого на земле.
Так от звезды, давно погасшей,
Лишь через много много лет
Доходит в ночи жизни нашей
Благословляющий привет¹⁶².

Трава забвения

Последнее из хранящихся в Русском архиве Лидского университета писем Федорова Бунину датировано апрелем 1934 года. Есть еще одно без даты, но вряд ли оно написано намного позднее, в нем автор продолжает радоваться за друга и жаловаться ему на то, что сам тонет. Бунину оставалось жить еще 19 лет, Федорову – 15. Почему прервалась их переписка? А по сути – дружба, которая насчитывала без малого 40 лет! Неужели зарос-таки травой забвения тот уголок в сердце Ивана Алексеевича, где навсегда и «несмотря ни на что», было гарантировано место другу Митрофанучу?

Конечно, Иван Алексеевич мог просто устать от назойливых жалоб Митрофану на жизнь, звучащих особенно удручающе для человека, который сам едва сводит концы с концами. Потом в жизни двух авторов почти одновременно произошел радикальный перелом. Нобелевская премия принесла Бунину достаток и вывела на новый уровень всемирного признания, а значит и на новые переводы и гонорары, короче, на все то, что дает повод для уверенности, как это называется, в завтрашнем дне. Федоров же окончательно потерял педагогическую работу и скромный доход, который она ему приносила. Жизнь развела их по двум не соприкасающимся вселенным. Из-за чего Александр Митрофанович и решил больше не беспокоить старого товарища. Быть бедным среди бедных несложно, быть бедным перед богатым – стыдно. Даже на расстоянии.

Да, но ведь прошло не очень много времени, и старый товарищ вернулся в ту же вселенную, где прозябал Федоров. В годы войны дела его пошли так худо, что Ивану Алексеевичу приходилось буквально драться за картофелину со своим протеже и литературным секретарем Леонидом Зуровым. Но его дружба с Федоровым не воскресла. Конечно, тут можно сказать, что старость заставляет экономить усилия, в том числе и эмоциональные, круг контактов сужается. Но дело не только в этом.

Вселенные, в которых оказались старые друзья, не характеризовались лишь признанием и материальным достатком. Федоров, несмотря на почетный пост председателя союза писателей и журналистов Болгарии, оказался вне силового поля иммигрантской прессы Берлина и Парижа. Периодика двух основных центров русской эмиграции первой половины XX века дала возможность своим авторам остаться частью развивающегося литературного процесса, сохранить собственную актуальность. В этом отношении даже литературная вражда была так же полезна, как и литературная дружба. Бунин находился в гуще этой жизни. Он был одинаково хорошо знаком и со старой литературой, и ее нарождающимися на родине и в изгнании звездами. К этому следует добавить еще одну важную деталь: после прозвучавшей в 1919 году в переполненной аудитории Новороссийского университета лекции «Великий дурман» у Бунина возникло осознание своей особой роли в русской литературе. Своего, как сейчас бы сказали, лидерства. Слова слышавшего эту лекцию академика Н.П. Кондакова «Иван Алексеевич – выше всех писателей» упали на благодатную почву.

¹⁶² Архив Байнеке.

В Софии, равно как и в Одессе, центром мира Александра Федорова был он сам и его семья. Его мир сотрясали не идеи века, а его собственные страсти. Именно поэтому его любовная лирика, постоянно подпитываемая свежими чувствами, продолжала пользоваться спросом. Недаром его стихи постоянно присутствовали в коллективных сборниках рядом с именами лучших поэтов его времени. Как например в вышедшем в 1921 году в пражском издательстве «Кремль» – 500-страничном «Сборнике стихотворений известных русских поэтов». Увесистый том, видимо, должен был заменить иммигрантам оставленные на родине библиотеки. В него вошли 300 стихотворений 85 авторов – от Пушкина до Федорова.

Иное дело – проза. Иногда кажется, что Федоров, литератор прагматичный, допустил ошибку, которая во многом поспособствовала его забвению. Он, если так можно выразиться, не перестроился на более ходовой для тех условий прозаический формат – короткого рассказа с выраженными документальными свойствами. К каким можно отнести, например, бунинский «Конец» – историю бегства автора из Одессы в трех микроглавах – идеальный формат для газетной страницы.

Федоров это понимал, жалуясь Бунину на то, что он-де «скаун на длинные дистанции» и не способен к производству, как он выражался, «семечек» «с современным нервом». Но понимание своей творческой проблемы не привело к ее решению. Рассказы, опубликованные в 1920-х в берлинском журнале «Сполохи», в парижских «Перезвонах» и, видимо, последний, опубликованный в 1939 году рассказ «Жемчужина» в парижских «Русских записках» утомительно неторопливы и неактуальны. Возможно, проблема могла решиться, если бы рядом с Митрофаным была его Лида, его первый редактор, литературный секретарь, дельный советчик.

Митрофан, как говорится, отстал от жизни. Поезд русской литературы ушел, оставив его в полном одиночестве на платформе софийского вокзала. Все, что у него оставалось, это его семья со всеми ее достижениями и несчастьями, говорить о которой его парижским друзьям попросту наскучило. У них были свои заботы, их увлекали другие события.

Время, говорят, все расставляет на свои места. Места пребывания и окружение способствуют этому тоже.

Сестры Барло

Надя с детьми вырвалась из Одессы в августе 1922. Александр Митрофанович, узнав новость, тут же бросился в Варну. Конечно, он был ближе Виктора к невестке и внукам. Но Виктор в Варну не приехал вообще. В его жизни появилась другая женщина – Вера Барло-Якубович.

Известно о ней совсем немного. Она была на десять лет старше Виктора. Она, как говорится, окрутила и поработила его – слабохарактерного, отобрала у семьи и, возможно, сыграла свою роль в его аресте. Несмотря на частые скандалы, они прожили вместе два десятка лет, и в документах о месте жительства в Бухаресте она проходит по фамилии Федорова.

Впервые мы узнаем о ней из письма Елены Васильевны Недзельской от 21 июня 1924 года, отправленного из Кишинева в Париж – В.Н. Буниной:

«Витя сейчас здесь. Отдыхает с женой у тестя. Выглядит погано. Жизнь его мерзкая, в другом, нежели наша, смысле. Типично современная. Жизнь международных больших городов. Сегодня шла я по улице. Они со своей женой впереди. Оба модные, типично порочные. У него жена. Они бездетны. Как? Витя Фед<оров>? Да ведь у него двое маленьких детей. Еще так недавно все это было. И теперь другой. Детям и на детей он ничего не может посылать. Не хватает. Они живут в Бухаресте постоянно в гостинице. Так шикарнее. Платят

4500 за комнату, а в семье можно иметь комнату за 2000. Но это бы не шло к его ультрамодному пиджаку и утрированной простоте ее костюма и прически. Это не шикарно. Нет. И у него и у нее темные под глазами круги. И оба они похожи на героев мрачной кинематографической драмы. Наиболее частое выражение лиц таких героев – деланное спокойствие, жадность и брезгливость ко всему, что не в их вкусе.

Но этот Витя знает, видел, был в нашей прошлой жизни, и мы не можем оторвать его от сердца и бываем ему рады. А когда он уходит, мне постоянно хочется плакать. Ожидается Митрофаныч. С тем будет трудно. Теперь разводит лимонад о Витиной гениальности и пр. Да и сам он, не поумневший, как видно из его произведений с пафосом – мучителен»¹⁶³.

Нилус пишет Бунину 23 октября 1924 года:

«Получил от Митрофаныча твое письмо, оказывается он в это лето был в Румынии, и вдребезги рассорился с Витиной красавицей»¹⁶⁴.

Где и как встретились Витя Федоров и Вера Барло-Якубович? Частичный ответ дает биография ее сестры – Елены Барло. О ней известно больше, в частности из двухтомной Энциклопедии румынского театра, где ее имя постоянно упоминается вместе с именем Виктора Федорова.

Елена родилась в Житомире в 1905 году. Отец – Владимир Барло-Якубович (по словам детей Виктора – генерал в отставке), жил с Еленой и ее старшей сестрой Верой в Кишиневе, когда там появился Виктор. Если представить, что они встретились в 1922 году, то Виктору в это время – 25, Елене – 17, Вере – 35.

Профессиональные биографии Виктора Федорова и Елены Барло тесно переплетены.

В 1923 году Елена и Виктор дебютируют в качестве художников в Национальном театре живописного городка Крайова (Teatrul Național din Craiova), что в двух сотнях километрах на запад от Бухареста.

В 1924 году Виктор получает работу художника-постановщика в Национальном театре Румынии в Бухаресте. Елена получает здесь работу художника по костюмам в 1927.

В 1928 году министерство культуры Румынии командировывает Виктора на стажировку в Париж. Елена продолжает работать в Национальном театре до 1931 года и уезжает в Париж – в 1932, оставаясь там до 1934.

Виктор получает работу технического директора в Королевской опере в 1931 и работает здесь вплоть до начала войны. Елена появляется в Королевской опере в 1937 году и работает здесь до 1946.

Работы Елены Барло хранятся в музеях Бухареста и Кишинева.

Кажется логичным предположить, что знакомство с Верой состоялось через знакомство с Еленой, близкой ему профессионально. Но младший сын Виктора – Виктор-Анатоль, ссылаясь на воспоминания матери, утверждает, что Вера была уличной женщиной, которая привела Виктора в свой дом, где и удерживала два десятка лет. Источник версии об уличном прошлом Веры, признаемся, ставит под сомнение ее достоверность. А вот общность профессиональных интересов с Еленой Барло, действительно, могла укрепить его связь с Верой. Сестры были единоклюбы в отношении к Виктору. Александр Митрофанович в письмах Бунину называет их «пиявками», подчеркивая, что обе видели в нем источник своего благополучия. И в записках своей молодой возлюбленной, которая появляется у него в конце 30-х, Виктор намекает на то, что находится под постоянным надзором. Этот надзор, надо понимать, осуществляла работавшая рядом с ним сестра Веры.

Наталью Георгиевну Федорову – вдову старшего сына Виктора Александровича, Вадима Федорова, – я впервые встретил в городке Амстердам, что на севере штата Нью-

¹⁶³ РАЛ.

¹⁶⁴ Там же.

Йорк. У Федоровых здесь был ухоженный двухэтажный дом на заросшей старыми деревьями улице. Белый фасад, синие жалюзи, островерхая крыша, терраса под навесом, где когда-то собиралась большая семья. Амстердам – уютный городок старой Америки, который к середине 80-х стал одной из жертв глобализации. В лучшие времена он жил за счет местного ткацкого производства, где Вадим Викторович работал химиком. Потом производство закрылось. Старики ушли из жизни, молодежь разъехалась. Просторные и совершенно пустынные улицы исполнены очарования старых кладбищ.

Второй раз мы встретились весной 2011 года, когда округ Колумбия и соседняя Вирджиния утопают в розовых облаках цветущей вишни. Здесь, у сына Алекса, полковника Армии США, жила теперь Наталья Георгиевна. Ей было 89 лет.

Она занимала уютный, отдельно стоящий от основного особняка дом. На стенах ее гостиной фотографии родных и сразу же узнаваемый карандашный автопортрет Виктора Александровича.

Снова было чаепитие и долгий разговор.

В 1925 году Надежда Леонидовна с детьми переехала из Болгарии в Чехию. Переезду активно способствовал Александр Митрофанович. Его коллега – Евгений Николаевич Чириков, с которым он давал совместные лекции в Болгарии (принесшие им прозвище Кирилла и Мефодия), активно участвовал в жизни русской Праги и мог поспособствовать переезду.

Сама Наталья Георгиевна Федорова – внучка Е.Н. Чирикова.

В Чехословакии Надю нанял в качестве воспитательницы сына овдовевший русский иммигрант из Пильзена. Вадя с Лекой пошли в известную тршебовскую русскую гимназию-интернат в Моравии. Надя, получив стипендию чешского правительства, училась в русском кооперативном институте и получила диплом об его окончании. Диплом этот ей никак не помог, вся ее жизнь прошла в прислугах.

О Вере Барло Наталья Георгиевна знает от мужа.

Вера – красавица со светло-зелеными глазами. Нашла Виктора на улице в Кишиневе, привела к себе домой и больше не отпустила. Безостановочно терзала его своей ревностью. Отбирала все деньги.

Надя Ковалевская сама отказалась встретиться с мужем, узнав по прибытии в Болгарию о его романе с другой женщиной. Их первая после длительной разлуки встреча произошла летом 1928 года, когда Виктор приехал в Чехословакию, чтобы провести лето с детьми и с ней в деревне. Виктор приезжал к ним в летний отпуск трижды. Надя любила его всю жизнь и всю жизнь надеялась на его возвращение. Его попытки вернуться к Наде и детям всегда прерывались угрозой Веры покончить с собой.

Федорова-старшего нерешительность сына приводила в отчаяние, но и служила еще одним свидетельством его благородства.

В письме от 15 июня 1930 года Федоров-старший пишет Бунину о сыне: «...чувствует он себя несчастным, несмотря на большие успехи: опротивели ему его пиявки до тошноты, а бросить их он не может: грозят самоубийством и проч. Тоскует о детях и мечтает вернуться к ним, а духу не хватает на решительный шаг. Начал попить и это меня больше всего тревожит»¹⁶⁵.

Описание отношений сына с его подругой нашли отражение и в поэтической форме:

– Мой мальчик, что ты побледнел.

Кто выпил кровь твою.

– О, мама, я в груди согрел,

¹⁶⁵ Там же.

В груди моей змею.
– Мой мальчик, избранных творцом
Ждет слава и хвала.
– О, мама, голову венцом
Змея мне обвила.
– Мой мальчик, как ты мог уйти
От деток и семьи.
– О, мама, там мои пути,
Где след моей змеи.
– Мой мальчик, как тебе не грех
Забыть свой край родной.
– О мама, умер я для всех,
Жив для змеи одной¹⁶⁶.

«Тетя Надя», так Наталья Георгиевна называла свекровь, не была красавицей, но была пикантна и остра на язык. Некоторые ее высказывания навсегда врезались ей в память. Когда кто-то из детей, напроказничав, пытался подольститься к ней, она говорила: «Такой хороший, хоть до раны приложи». Характер у нее при этом был твердокаменный. Домашние в шутку называли ее «фюерером».

Когда Вадик было 17 лет, он провел летний месяц у отца. Он помнит его прекрасную квартиру в Бухаресте. Ссоры с Верой были безостановочными. Они отдыхали без Веры в районе Констанцы, где у друзей отца была яхта. Вадик вспоминал, как винт яхты запутался в рыбацких снастях и они ныряли, чтобы высвободить его. Вода была ледяной. Выручили их рыбаки – владельцы снастей.

Наталья Георгиевна утверждает, что в официальном браке Вера и Виктор не состояли. Последний раз она видела Виктора Александровича в 1944 году, когда тот приезжал в Прагу, чтобы расторгнуть брак с Надеждой Леонидовной.

Сын Вадим с молодой женой Наташей и первенцем, жившие в Праге в узкой подвальной квартире, которую они называли «щелью», знал от посещавшего их отца, что у того была турецкая виза и приглашение на работу в константинопольский театр. Он также говорил, что Александр Митрофанович уговаривал отца остаться и встретить русских. Федоров-старший все еще мечтал о возвращении на родину, обещавшее ему возвращение в русскую литературу. Он был уверен, что и Виктору с его талантом и опытом театральной работы найдется в России достойное место. Но здесь дело было не только в прагматизме, уверенности в том, что подготовленный на западе специалист не останется без работы. Когда Вите не было еще и года, Александр Митрофанович посвятил ему стихотворение, в котором были такие строки:

Заря твоей безвестной жизни
Ясна, светла, как рай,
Что дал тебе я – ты отчизне
Как долг святой отдай.

И будет мне легко в могиле,
Коль заповедь мою
Исполнишь ты, покуда в силе...
Спи, баюшки-баю.

¹⁶⁶ Архив Байнеке.

Эти строки были написаны задолго до революции и эмиграции, когда любовь Александра Митрофановича к родине, ощущение своей неразрывной связи с ее историей и культурой еще не были обострены возрастом и эмигрантской оторванностью – лучшей смесью для подпитки ностальгии. Эта любовь была абсолютно искренней. Но ощущая, что жизнь его на исходе, Александр Митрофанович считал, что триумфальное возвращение на родину, во всем блеске таланта и опыта, за него сможет осуществить сын.

У Виктора к родине было другое отношение. С ней у него ассоциировались смерть, голод, нищета. Заграница дала ему достаток и признание. По словам Натальи Георгиевны, в 1944-м Виктор Александрович выглядел как киноартист, ухоженный и прекрасно одетый. Весь его вид говорил, что война и принесенные ею бедствия его не касаются. В планах был переезд в Турцию, где ему предложили работу по специальности.

«Мы жили как иммигранты, – вспоминает она. – Он – нет».

По понятным причинам фотографий Веры Барло в семейных альбомах Федоровых нет. Но среди холстов отца, оставшихся у живущего в Женеве Виктора-Анатоля, есть один, на котором, как он считает, изображена Вера.

Узколицая женщина с закрытыми глазами, с зачесанными назад гладкими темными волосами, с покрытым прозрачной кисеей лицом проходит за окном мастерской художника. На заднем плане – голые черные деревья поздней осени. Мутноватые зелено-коричневые тона картины относят женщину в мир, где отсутствуют присущие жизни солнце и радость.

Герой без взглядов

Мы помним, как Катаев описал своего героя – художника Диму: избалованный, но добрый парень, художник, лишенный всякого таланта и – это очень важно – взглядов. Человек без взглядов в революционную эпоху, когда за взгляды умирали, казался аномалией. Эту свою «аномальность» Виктор в какой-то момент осознал и берег, признавшись своей второй супруге, что всегда стремился быть подальше от политики. Но Катаев говорил не об аполитичности Виктора, а, скорее, о врожденном отсутствии интереса ко всему, что находилось за пределами его личных художественных интересов. Это, конечно, занижало его творческие возможности. Задачи, которые он ставил себе, не могли идти дальше совершенствования техники, но его, видимо, это не беспокоило. И разве не принял бы он советскую власть, если бы та не предприняла нескольких попыток лишить его жизни?

В своей безыдейности Виктор, как говорится, был сыном своего отца – того, бывало, увлекали модные идеи, но в жизни он руководствовался здоровым практицизмом. Познав и отчаянную нищету, и громкий успех, он понимал, что не все в жизни человека зависит от общественного устройства, свою роль играют и талант, и трудолюбие, и умение приспособливаться к обстоятельствам. Виктор, выросший в благополучной семье и с детства не знавший нужды, еще меньше был озабочен проблемами социального неравенства, чем отец.

За любовью Виктора к рисованию можно предположить еще одно качество – склонность к уединению и даже отсутствие навыка общения – не вполне ординарное свойство для человека, родившегося и выросшего в говорливой Одессе! И действительно, когда Елена Недзельская сообщает Вере Буниной, что в их кишиневском доме остановился бежавший из Одессы Виктор, она напоминает той, как Виктор «краток и бледен в рассказе».

В письмах Бунину Александр Митрофанович неоднократно упоминает работоспособность сына, что наверняка способствовало его театральной карьере, но когда речь заходит о его отношениях с женщинами, жалуется на его нерешительность и раз, сорвавшись, называет тряпкой.

Безволие и доброта, по крайней мере – отчасти, могли объяснить и его очень ранний первый брак с Надей Ковалевской, которая была старше его на год, и мучительно-долгую связь с Верой Барло, которая была старше его на десять лет. Женщины легко подчиняли его своим интересам. О таких, как он, говорят – подкаблучник.

Но, как это нередко бывает, жертвы домашней тирании на работе сами становятся тиранами. Копящийся подолгу пар всегда находит выход. Сын Виктора – Вадим вспоминал, что в театре отец не стеснялся своей власти, покрикивал на рабочих и, бывало, переходил на мат. Младший сын – Виктор-Анатолий рассказывал со слов матери, как однажды отец набросился на своего подчиненного с кулаками. Это произошло во время общего застолья, когда один из рабочих сцены предложил исполнить Интернационал. Виктор, видимо не справившись с нахлынувшими воспоминаниями молодости, повалил певца на пол и бил, пока его не оттащили.

Вспоминается еще один, более ранний случай, из рассказа Нади Ковалевской, когда Виктор набросился с руганью на пограничников. Это случилось во время его нелегального перехода границы в 1922 году. Он сыграл тогда экспромтом роль человека, о чьем переходе якобы знало начальство патрульных, но по какой-то причине не сообщило им о нем. И пограничники отступили.

Он был, конечно, подкаблучником, но в определенных ситуациях мог проявить характер.

Был ли он значительным художником?

Катаев писал о своем герое Диме: «...художником оказался не очень хорошим, дилетантом. Много ненужных подробностей»¹⁶⁷.

Последние, лагерные акварели, театральные эскизы декораций или карандашные автопортреты и портреты близких, сделанные еще в России, Болгарии и Румынии, – действительно кажутся работами старательного дилетанта. В них нет той стильной уверенности, которая всегда отличает мастера.

В Женеве сохранились работы Виктора Федорова, выполненные маслом. Очевидно, что Виктора увлекал сюрреализм, но его холсты не выдерживают сравнения с произведениями классиков жанра – по единственной причине, названной до нас Катаевым, – у их автора не было взглядов. Художник без взглядов – декоратор, и именно это свойство характерно для сюрреалистических картин работ Виктора – они декоративны. Но по меньшей мере одна из них интересна. Она написана в 1944 году и называется «Перевозчик. Беатриче и Виргилий спускаются в ад». На переднем плане – моряк с якорем в руках стоит у лодки со спущенным парусом. Его глаза закрыты. Это, надо понимать, Харон. На втором плане – группа людей, освещенных адским пламенем. На заднем плане мы видим две приближающиеся к переправе фигуры, мужскую и женскую. Мужчина в черном, женщина в белом, на руках у женщины черный сверток – это ребенок. С учетом того, что картина написана в 1944-м, Виктор мог в этой паре увидеть себя с Еленой и младенцем, которому еще только предстояло появиться на свет.

В реалистической манере написан портрет Елены Дину. Молодая женщина в легком платье с цветочным узором лежит, закинув руку за голову, в шезлонге. Автопортрет художника в белой рубашке с открытым воротом, с кистью и палитрой в руках кажется пафосным. Задник занимает нечто напоминающее большими отверстиями то ли орех, то ли швейцарский сыр.

Из переписки Федоровых мы знаем, что в летние месяцы Виктор выезжал на заработки в курортный городок Балчик. В Женеве остались сделанные здесь картины, или,

¹⁶⁷ В. Катаев. Избранное. С. 40.

скорее, картинки. На них – мощенные булыжником улочки, черепичные крыши, румынские крестьяне в национальных костюмах, товар, одним словом, для туристов.

В 1928 году румынское министерство культуры направило Виктора, в то время работавшего в Национальном театре, на стажировку в Париж. Это было очень большим событием в жизни театрального художника. Судите сами: уже на исходе, но еще не окончилась эпоха «Русских сезонов» Сергея Дягилева, который привлек к работе самых передовых артистов, музыкантов и художников своего времени. Декорации к его постановкам делали Жорж Брак и Андре Дерен, Наталья Гончарова и Михаил Ларионов, Макс Эрнст и Хуан Миро. Когда Виктор только собирался в Париж, очередную постановку Дягилева в театре Сары Бернар – балет «Меркурий» декорировал его кумир – Пикассо. Мог ли русский художник-постановщик, располагающий опытом работы в главном театре Румынии, не мечтать о том, чтобы оказаться в созданной Дягилевым гиперконцентрированной художественно-артистической среде?

Виктор, конечно, следил и за деятельностью Дягилева и за другими русскими художниками, оказавшимися в Париже. Известно, что Вера Николаевна Бунина отправляла ему страницы иллюстрированного журнала «Жар-Птица» с фотографиями декораций модных театральных постановок.

Поездке Виктора в Париж предшествовала возобновившаяся переписка Федорова-отца с Нилусом. Понятно, что Александр Митрофанович переживал за своего мальчика и надеялся если не на помощь уже утвердившегося в Париже друга, то, по крайней мере, на его советы. Из писем, которые хранятся в архиве А.М. Федорова в московском музее М. Цветаевой, мы узнаем, какие инструкции давал Нилус своему старому товарищу: чтобы прожить в Париже, нужно 2,5-3 тысячи франков в месяц, его (Нилуса) квартира стоит 1350. Ехать лучше всего одному, чтобы спокойно осмотреться и принять верное решение относительно дальнейшего устройства. Полагаться следует только на удачу. В качестве примера Нилус приводит московского художника Николая Милиоти, который попал в Париж через Софию и, видимо, был известен Федорову. Нилус указывает на то, что тот знал язык, что значительно помогло с заказами, а вдобавок был умен и привлекателен.

Милиоти, действительно, хорошо знал французский, и вот по какой причине: свое образование он начал на историко-филологическом факультете Московского университета, а окончил в Сорбонне. Живя в Париже, он учился живописи в Академии Жюльен, той же, где занимался Евгений Буковецкий. В 1906-м он был участником большой русской выставки в Париже, организованной С. Дягилевым, и действительным членом парижского Осеннего салона. Это он был учредителем «Мира искусств» в 1910 году и участником его выставок. Вернувшись в Париж в 1923 году, Милиоти снял мастерскую на площади Сорбонны. В ней бывали Поль Валери, Райнер Мария Рильке, Андре Моруа, Михаил Ларионов и Наталья Гончарова, с которой он работал в кукольном театре Ю. Сазоновой. В 1924 году он уехал на несколько лет в США. Нилус говорит, что его пригласили для писания семейных портретов знаменитые Моргань.

Нилус подчеркивает, что вначале Милиоти, как и он сам, прошел через период неопределенности, но потом фортуна улыбнулась ему. Это не совсем так. Милиоти был художником совсем не того калибра, что Виктор. Именно к таким, как он, можно отнести спортивную поговорку – везет сильнейшим. Но Нилус проявил типичную для него деликатность – он дал понять старому товарищу, на что его сын, не знающий французского, не имеющий связей и известности Милиоти, может рассчитывать в Париже. Исключительно на удачу.

К короткой справке о Милиоти следует добавить, что удача не сделала того богатым. Берберова писала, что в последние годы жизни – седой, беззубый, в дырявом пальто, он выглядел как клошар. Его спасали его бывшие подруги.

Виктор приехал в Париж один. Чего ему это стоило, можно догадываться. В апрельской 1928 года открытке старому другу Нилус не без иронии сообщает, что они с Виктором сидят в кафе, но тому кусок не идет в горло от мыслей о возвращении в Бухарест.

Судя по тому, что в Бухаресте продолжали выходить постановки с его декорациями, Виктор бывал в Париже наездами. И по пути в Париж, и обратно он стал заезжать к первой жене. Понятно, что его тянуло к подросшим сыновьям, но вернувшись к ним, он оказался в такой теплой, такой родной семейной атмосфере, что сердце его дрогнуло и в отношении Нади. Они, кажется, снова сошлись, во всяком случае семья была вместе, сняв на школьные каникулы детей дом в деревне. Надя, чья жизнь в Чехословакии была мучительно тяжелой, внезапно обрела счастье, о котором не осмеливалась мечтать. Невероятно гордая и независимая, по словам ее детей, могла ли она не думать о том, что вернувшийся муж, состоявшийся театральный художник, может избавить ее от унижительной работы прислуги в чужом доме?

10 июня 1929 года Александр Митрофанович пишет Бунину о находящемся в Париже сыне, «...где мечтает устроится совсем. По пути он был в Праге у Нади и деток и, как пишет мне сейчас – и “Надей и детками совершенно зачарован” и, кажется, мечтает о восстановлении прежних семейных отношений, т.к. пиявку свою бухарестскую с ее сестрой совершенно возненавидел и только джентльменство удерживает его от окончательного разрыва (к тому же надо денег, чтобы откупиться от них); да, пожалуй, боязнь, что придется волочить за собой ему если не два их трупа в воспоминаниях, то один. Впрочем, я надеюсь, что он, в конце концов, решится»¹⁶⁸.

1 января 1930 года Александр Митрофанович докладывает Бунину:

«Витя все идет в гору как художник, но начинает иногда запивать жестоко, отчасти потому что возненавидел своих пиявок, а развязаться с ними не в состоянии. По характеру он порядочная тряпка. Впрочем и доброта и благородство мешают, но весной думает уехать в Париж, а по дороге повидать деток и захватить Надю. Он летом виделся с ними и решил опять вернуться в семью»¹⁶⁹.

Ни в Париж, ни в семью, как мы знаем, Виктор не вернулся. Но здесь речь о другом – его работе. Мы невольно переносим катаевскую характеристику профессиональных качеств его героя Димы на реального Виктора и видим в нем не очень талантливую художника. Но в Румынии Виктор преуспел не как художник в узком смысле этого слова. Его талант проявился в другом.

Академическая двухтомная «История румынского театра» представляет его как значительного сценографа, художника-постановщика Национального театра Румынии, где он трудился с 1924 по 1931 год. Из сезона в сезон он оформляет один-два спектакля:

1925-26 – «Женитьба» Гоголя и «Жанна Д’Арк» Шоу; 1927-28 – «Дикая утка» Ибсена и «Хозяин Маноле» Блага; 1928-29 – «Женщина с моря» Ибсена и «Турандот» Гоцци; 1929-30 – «Мера за меру» Шекспира и «Великий исповедник» Ефимины; 1930-31 «Ревизор» Гоголя.

Он также упоминается в качестве сценографа театра Марии Вентуры – известной актрисы, которая родилась в Бухаресте, получила образование в Париже и работала в Комеди Франсез, а с 1929 года ежегодно приезжала в Бухарест, где делала свои постановки.

В 1931 году Виктор перешел на работу в Королевскую оперу на должность технического директора.

¹⁶⁸ РАЛ.

¹⁶⁹ РАЛ.

Не нам судить о степени дарования Федорова-сценографа, отметим лишь, что его многочисленные работы в качестве художника-постановщика стали неотъемлемой частью истории румынского театра.

Лелюш

Молодая художница Елена Дину пришла в Королевскую оперу не позже 1938 года. Знакомство с Виктором началось с конфликта. Тот категорически отказался принимать ее на работу, сославшись на правило, по которому в его цеху работали только мужчины. Не исключено, что правило было введено Верой Барло.

Но у Елены Дину оказался влиятельный родственник в министерстве культуры, и под его давлением Виктор был вынужден отступить. Елене Виктор представлялся пожилым человеком, с которым ее не могло связывать ничего, кроме работы. Ему был тогда 41 год. Но очень скоро у них начался роман. В записках и письмах – он уже писал на румынском – Виктор обращался к ней «Дорогая Лелюш» или «Лелиора».

На фотографиях Елена Дину черноглазая, с облегающими голову гладкими черными волосами, уверенная в себе, улыбчивая женщина. Цыганского, можно сказать, типа. Вот она сидит у стола с сигаретой в руке. Было такое время – мало кто не курил. На другом снимке она сидит на борту яхты. Виктор стоит рядом. Оба во всем белом. Она – в выставочном зале у своих живописных работ – на холстах цветы.

Елену не назвать красивой, но ее молодость затмевала для Виктора все. Ситуация – банальней некуда, что не помогает преодолевать пытку вынужденной жизни врозь. Дома – ревность, взаимная ненависть, скандалы, угрозы покончить с собой. На работе – головокружительная близость молодой женщины.

По понятным причинам на записках, которые он оставляет ей, дат нет.

«Моя дорогая Лелиора, что означает твое молчание? Мы не говорили так долго. Мне кажется, ты потеряла терпение и решила, наконец, прекратить свои страдания и забыть меня. Может быть, это и хорошо для тебя, но невыносимо грустно для меня. Но я надеюсь, что мои письма просто потерялись. На почте – хаос, все жалуются на потерянные письма.

<...>

Я не изменяю тебе ни в мыслях, ни на деле. Я намерен заработать много денег этой осенью и оставить богемную жизнь. И наша проблема должна быть решена, если ты все еще хочешь быть со мной.

Моя дорогая любовь, мои зеленые глаза, которые я целую каждое мгновение. Как бы я был счастлив, если бы ты могла быть здесь со мной. Очень тяжело без тебя. Я злюсь, когда мы ссоримся, а потом чувствую себя как собака. Я устал и морально уничтожен этой женщиной. Только проклятая жалость. Пожалуйста, уничтожь это письмо, эти безжалостные слова не должны достичь ее. Твои письма, как ты и просила, я порву тоже и развею над морем, над белыми холмами и прериями, вот почему мы, кажется, становимся единым, с маленькими частичками твоего существа – единственного, что способно сделать меня счастливым. Я целую тебя со всей своей любовью, моя маленькая Лелиора».

И еще одно:

«Дорогая моя, если ты расстроилась, это не так уж страшно, но я не хочу, чтобы ты страдала, вот почему я пишу тебе это письмо. Ты как ребенок, и когда ты расстраиваешься, я люблю тебя еще сильнее.

Жизнерадостные дети, такие как ты, в моменты своего одиночества страдают еще сильнее, и это создает для нас с тобой небольшие неудобства, но они не стоят того, чтобы превращать их в большие драмы.

Ты достаточно взрослый человек, чтобы подумать немного, оценить наши чувства и признать, что мои – так же искренни, как твои. Я могу сказать тебе, что и в моем возрасте, что еще более непростительно, я тоже ребенок и вместо того, чтобы молчать, рассказываю тебе обо всем, что происходило в моей жизни. Я – не серьезный человек. Прости меня. Я измучен и несчастлив, от того и ищущего кого-то, кто может понять и простить меня, может помочь мне и разделить со мной мои печали. Их так много, что я не в состоянии вынести их один. Мои мысли могут показаться чудовищными и испугать тебя, потому что ты так молода и так неопытна. Но это что-то значит для нас и нашей близости, и поэтому не может быть просто так отброшено. Никакие страдания – большие или маленькие, никакая ревность – сильная или слабая, не должны заставлять нас ходить с угрюмой физиономией, как это делаю я, или показывать язык, как это делаешь ты. Ты принимаешь все слишком серьезно и расстраиваешься, а я пишу эти строки и не могу не смеяться, потому что прямо сейчас очень хочу поцеловать твой маленький язычок. Давай прекратим заниматься этой ерундой, помни, что я очень люблю тебя и только тебя, моя деточка, моя любовь. Приходи вечером мириться. Если ты не придешь, я буду считать, что ты бросила меня.

Целую».

И еще:

«Дорогая Лелюш,

Я должен увидеть тебя вечером. Вчера, учитывая обстоятельства, я ничего не мог сказать тебе. <...> Если не будет дождя, приходи в греческий ресторан за Кишмигу (*парк в Бухаресте – В.Я.*). Я буду ждать тебя между 7 и 8. Если будет дождь, я зайду за тобой около 8 или 8 с четвертью.

Целую»¹⁷⁰.

Эта попытка, наверное, продолжалась бы и дальше, если бы на помощь влюбленным не пришел Александр Митрофанович. Он был прекрасно осведомлен о сердечных делах сына, и в очередной приезд в Бухарест явился в его квартиру, решительно собрал его вещи в чемодан и увез в гостиницу «Континенталь». После этого он настоял на том, чтобы Виктор съездил в Прагу и получил у Нади согласие на развод. Та не возражала, их брак давно уже был формальностью.

Инициативность Александра Митрофановича была жестоко наказана. Вера Барло уничтожила все его рукописи, хранившиеся в квартире у Виктора.

Когда Виктор вернулся из Чехословакии с необходимыми документами, Елена Дину стала его законной женой и забрала жить в большую квартиру на ул. Данте Россетти, которую делила с сестрами. До свадьбы те наотрез отказались принимать Виктора в качестве сожителя сестры.

Почему, располагая турецкой визой, он остался в Бухаресте? Может быть, потому что Елена не хотела оставлять сестер. Может быть, потому что после того, как в Румынию вошли советские войска, выезд из нее стал невозможен.

Его новое семейное счастье было удручающе непродолжительным. 28 декабря 1944 года двое советских военнослужащих в сопровождении двух румын в форме появились в квартире на улице Данте Россетти и, предъявив ордер на арест, увели Виктора. Несчастная Елена, беременная их первенцем, начала многомесячный обход советских и румынских чиновников, пытаясь выяснить, что случилось с мужем. Никто ничего не знал.

В это время бежавшие из Праги Вадим и Наталья Федоровы жили в Регенсбурге. Здесь их разыскал американский офицер с письмом из Пильзена – от матери. В нем они нашли обрывок коричневой оберточной бумаги, на одной стороне которого был написан

¹⁷⁰ Записки Виктора из семейного архива Федоровых в Женеве.

пильзенский адрес Надежды Леонидовны, на другой: «Я в лагере. Погибаю. Прощайте. Виктор».

Как это письмо могло добраться из СССР в Чехословакию и оказаться в американской зоне, никто объяснить не может. Доставивший его говорил по-русски без акцента. Молодые Федоровы, разговаривавшие с ним, узнали, что зовут его Уильям Коффин. Русский он учил в военной школе в калифорнийском Монтерее, затем доучивал в семье русских иммигрантов в Париже, от которых получил новое имя – Вася Коффин. Для полноты картины можно было бы русифицировать и его фамилию, назвав Грбовым. «Coffin» по-английски – гроб. После войны Коффин стал журналистом, а затем священником. В 60-е он был активным участником антивоенных протестов. Во Вьетнаме побывал тоже – в качестве корреспондента. В этой короткой биографии угадывается характер, склонный к перемене мест, неизбывному интересу к чужим судьбам. Такие люди не уникальны, и часто именно с их помощью в ходе случайных встреч, мимолетных контактов – из рук в руки – передается жизненно важная для кого-то информация.

Сын Виктора и Елены – Виктор-Анатолий появился на свет в июле 1945 года. По его собственным словам, он рос избалованным донельзя божком в женском царстве бесконечной любви и ласки. Помимо его собственной, у него было еще три мамы: Марго, Жоржета и Наташа. От матери он знал, что его отец был идеальным человеком. Ангелом. Мать проработала в театре 35 лет в качестве художника по костюмам. Вера Барло добила от Елены Дину, чтобы та в течение года отдавала ей зарплату Виктора, которая начислялась ему, пока дирекция театра выясняла его судьбу. Точнее, когда он уже был в заключении.

Если судьба действительно может наказывать, то об этом можно судить по тому, как она обошлась с Верой. В семье Федоровых жила легенда о том, что после войны она уехала из Румынии в Америку. Такой переезд мог соответствовать ее хваткому характеру. Но это только легенда. В начале 80-х молодой румынский театральный критик Ион Казабан разыскал в Бухаресте исчезнувшую после выхода на пенсию Елену Барло, чтобы написать о ее былой славе художника по костюмам¹⁷¹. Та жила в бедности, поразившей молодого человека. В крохотной квартирке лежала за ширмами, прикованная к постели, сестра Елены. Подключившись к воспоминаниям, она стала рассказывать о своем муже – знаменитом сценографе Викторе Федорове. Она по-прежнему считала его своим мужем. Казабан вспоминает, что эта встреча состоялась в 1983-84 году. Вере должно было быть тогда 96.

После ареста Виктора Александровича Елена Дину замуж больше не вышла. Она умерла в 2008 году в возрасте 98 лет и похоронена на семейном участке Федоровых на женеvском кладбище.

В причинах ареста Виктора Федорова не разобраться, не зная о его возвращении в Одессу в годы Второй мировой.

Возвращение в Одессу

В начале 1945 года Елена Дину начала поиски арестованного мужа и привлекла к этому дирекцию Бухарестской оперы, где работала сама и где еще месяц назад работал Виктор. Было составлено обращение к властям, включавшее его короткую биографию. Здесь была указана дата перехода Виктором границы в районе Тигины (Бендер) в 1922 году, работа с 1923 года театральным художником, получение в 1938 году румынского гражданства и служба в 1941-1942 году в Одессе в составе Второго полка тяжелой артиллерии Румынской армии.

¹⁷¹ Teatrul azi. 2009. № 8-10. Bucuresti, Romania.

Младший сын Виктора Александровича – Виктор-Анатолий рассказывал, со ссылкой на воспоминания матери, что до действующей армии Виктор так и не добрался. Связи позволили ему остаться в театре, где его опыт художника-декоратора мог принести больше пользы, чем опыт артиллериста. Именно это было учтено, когда Бухарестская опера отправила его в Одесскую в качестве своего эmissара. Тут необходимо уточнение. В командировку на восток Виктор поехал от театра, но по распоряжению, полученному от Министерства культуры Румынии, которое, в свою очередь, руководствовалось государственными интересами военного времени.

Можно предположить, что в Одессе его встретили как старого знакомого. Не могу удержаться, чтобы не представить себе появление Виктора в кабинете директора Оперного. Он входит. Из-за стола ему навстречу поднимается его постаревший педагог. 20 лет прошло!

– Виктор Александрович! – Федоров с присущей ему мягкостью, совсем не военному, прикладывает руку к козырьку.

Селявин надевает пенсне. Как знакомо ему лицо этого подтянутого красавца в румынской военной форме.

– Витя?! Какими судьбами?!

В самом начале оккупации Селявина избрали директором театра на общем собрании коллектива – как именитого артиста дореволюционных времен и опытного руководителя. В 20-е годы он был председателем одесского «Трудового оперного кооперативного товарищества», а в 30-е – депутатом горсовета. При этом ему удалось остаться беспартийным. К этому надо добавить дружелюбие и покладистость, нетипичные для артиста его ранга.

Теперь мы должны описать ситуацию, сложившуюся в оккупированной Одессе. Город, получивший после войны звание города-героя, проявил истинный героизм в дни обороны – летом-осенью 1941 года. Но после ухода Красной армии одесситы с энтузиазмом бросились в объятия новому городскому начальнику Герману Пынте, пообещавшему вернуть им все, отобранное большевиками.

Фамилия Пынти настраивает на иронический лад, между тем Герман Васильевич был человеком в высшей степени серьезным. Выпускник киевского юнкерского училища, участник Первой мировой, офицер царской армии, военный министр Молдавской демократической республики, он трижды занимал пост мэра Кишинева. В Одессе опытный и энергичный администратор в рекордные сроки вернул к жизни разрушенный бомбардировками город и порт, возобновил подачу электричества и воды, вернул в строй городской транспорт.

Историк Олег Будницкий сообщает, что к лету 1942 года городские власти выдали 3536 лицензий на торговлю и 926 – на открытие мастерских. В начале 42-го года в Одессе было зарегистрировано 1500 частных магазинов, в начале 43-го года эта цифра достигла 6-ти тысяч. В городе работало 560 ресторанов, кафе, закусочных и столовых.

Были возвращены права и имущество церкви, возобновил работу Новороссийский университет. Через 10 дней после ухода Красной армии в городе начала выходить ежедневная «Одесская газета», за ней появились «Наши дни», «Колокол» и «Молва», еженедельный юмористический журнал «Смех» и «Детский листок». В годы оккупации здесь издавались сборники стихов Гумилева и Есенина, книги местных авторов, в числе которых оказалась и старая знакомая Бунина и Федорова – Елена Васильевна Недзельская.

Театральная жизнь достигла расцвета, невиданного ни до ни после оккупации. Открылись: Театр эстрады, Театр камерной оперетты «Гротеск», известный артист Василий Вронский открыл Театр русской драмы и комедии. Местный опереточный актер Анчаров открыл Русскую оперетту. Группа актеров, переехавших из Киева, открыла Романтический театр. Свою аудиторию собирал украинский драматический театр им. Шевченко. Начали

работу Детский театр-сад, Театр обзрений, театр «Бомонд», Театр-аудитория, театр «Юность», Современный театр и эротический театр «Интим», где, говорят, играл бесподобный джазовый оркестр. Работала восстановленная киностудия. Легендарный певец Петр Лещенко открыл ресторан-кабаре «Норд», где сам и выступал. В этой театральной короне города первой жемчужиной был Одесский театр оперы и балета.

Будницкий сообщает, что он открылся через день после сдачи Одессы – 18 октября. Из других источников следует, что 13 декабря 1941 года. Первой постановкой стала опера «Евгений Онегин». Зал на премьере был забит до отказа. В репертуаре были восстановлены «Аида», «Тоска», «Риголетто», «Борис Годунов» и «Фауст», балеты «Лебединое озеро» и «Спящая красавица». По просьбе новых хозяев поставили оперу «Сон в зимнюю ночь» и балет «Свадьба в Карпатах» румынских авторов. Обе постановки успеха не имели. Аудитория предпочитала проверенный классический репертуар. Вполне достаточным проявлением лояльности режиму были афиши на румынском языке.

Опера постоянно принимала именитых гостей – знаменитого итальянского дирижера Молилари, тенора Луиджи Маджистретти и солистку Миланской оперы Неонилу Балиоз, приму Бухарестской оперы Марию Чеботару, других.

Будницкий нашел интересную запись рассказа Селявина о том, как жили артисты: «Материальные условия у них, у звезд театра, были блестящие. Они получали губернаторский паек в губернаторском магазине. Этот паек делился тоже на несколько категорий. Первый паек – 5 кило сахара, 5 кило масла и еще что-то. Потом стали уменьшать. Последний паек – кусок мыла и сода. В конце совсем прекратился этот магазин. Жалование труппе. Больше всех получал Савченко, солист – 2 250 марок». Будницкий добавляет: средняя ставка в хоре – 400 марок. Ведущие артисты меньше 600 не получали. Чтобы понять порядок цен на рынке – стоимость килограмма сахара составляла 20 марок.

Не кажется ли совершенно дикой аберрацией массовое уничтожение одесских евреев на фоне этого неслыханного подъема культуры и благополучия? Причем главную ответственность за эти расстрелы несли не немцы, а именно «культурные» румыны.

Историк Одессы Олег Губарь прояснил ситуацию касательно расхожего образа румынского оккупанта в одесском послевоенном фольклоре – простоватого торгаша, готового освободить пленного за небольшую мзду:

«На счету немецкой зондеркоманды 116 из состава Einsatzgruppe – около 3000 расстрелянных. На совести румынских солдат и офицеров 10-й пехотной дивизии – 92 тысячи уничтоженных одесситов-евреев, не считая не евреев. На первом этапе массового террора в 20-х числах октября 1941 года румыны повесили более 400 одесситов, 23 октября расстреляли в порту около 19 000. Еще 9000 были расстреляны и сожжены в складах по Люстдорфской дороге и в поселке Дальник. В селах Богдановка и Доманевка расстреляли еще около 30 000 из тех, кто был депортирован сюда в конце 1941 года из Одессы. В Березовке – около 35 000, депортированных в первой половине 1942 года».

Все это с трудом укладывается в сознании. Как эти оставшиеся в оккупации одесситы не были похожи на бессмертного героя Марка Бернеса, неунывающего исполнителя главного одесского шлягера про Костю-моряка! И как вернувшиеся с фронта или из эвакуации жили потом в одних дворах, в одних коммунальных квартирах с теми, кто оставался в оккупации? Понятно, что не все выдавали евреев, но кто-то жил рядом с теми, кто выдавал, жал им руку при встрече, поздравлял с праздниками, улыбался, отправлял своих детей в одну школу с их детьми...

В своем одесском детстве я слышал о послевоенных самосудах, о том, как фронтовик доставал пистолет, обнаружив в своей квартире вместо исчезнувших родителей семью дворника, например... Я слышал, как в дворовых битвах звенело неясное для меня в детстве ругательство «румынская подстилка».

Но в целом все как-то в конечном итоге сгладилось. Жизнь – сложная штука, в ней сосуществует самое, казалось бы, несовместимое.

Вернемся в Оперный. Обращает внимание то, что на первое собрание творческого коллектива пришли почти все его работники – около ста человек. Были ли евреи среди них? Вопрос кажется риторическим. Петр Лещенко в своих воспоминаниях сообщает, что еврейкой была даже жена Виктора Селявина, но ее спасли поддельные русские документы. Такими документами Селявин якобы снабдил десятки своих знакомых. Рассказывали, что во время облав он прятал евреев в театре, а потом снабжал деньгами, чтобы они могли уехать из Одессы. Кто-то спасался, уезжая в дальние села области и нанимаясь там в батраки.

Поразительно, но, судя по всему, на Селявина никто не донес, хотя на доноительство, процветавшее в сталинские годы, спрос должен был быть и при румынах.

А может быть, доносы и были, но румынские власти закрывали на них глаза, ценя работу театрального руководства? Такого рода исключения не были единичными даже в ходе эпохальной битвы за расовую чистоту. Как тут не вспомнить гениального цыганского джазмена Джанго Рейнхардта, собирающего полные залы в оккупированном Париже? И это при том, что нацисты объявили вне закона и джаз, и цыган.

Одесса, кажется, получила еще одну нетипичную для того времени поблажку – я слышал от старожилов, что местную молодежь не отправляли на работу в Рейх, и это во многом способствовало расцвету экономики и культурной жизни города.

Расцвет оккупированной Одессы, второй НЭП, как его называли тогда, не следует воспринимать как результат экспансии более высокой культуры, озабоченной развитием одной лишь культуры на новой территории. Нет, быстро восстановив Одессу, нормализовав ее жизнь, румыны проявили самый обыкновенный прагматизм – Одесса была важным транспортным и торговым центром Транснистрии, и он должен был действовать бесперебойно. Если для обеспечения этой стабильности требовалась научно-культурная инфраструктура, то румыны возродили ее с тем же вниманием, с каким они восстановили работу городского трамвая или телефонную связь.

Виктор направлялся в родной город с тяжелым сердцем. Он знал, что мать погибла, и надеялся разыскать ее могилу. Из повести Катаева мы знаем, что этот поиск оказался безрезультатным. Встреча со старым педагогом тоже была непростой. С одной стороны, оба относились к тем, кому повезло пережить красный террор начала 20-х. Обоим было о чем вспомнить, кого помянуть. Сын Селявина, например, был расстрелян в ЧК, из которой Виктор, как мы знаем, спасся. Но Виктора тяготило то, что на родину он приехал отнюдь не в качестве художника-декоратора, чей зарубежный опыт мог бы пойти на пользу Одесской опере.

В семейном архиве женевских Федоровых есть интересный документ – копия расписки о приеме имущества Одесского оперного театра специальной комиссией министерства культуры Румынии. Виктор был членом этой комиссии.

Вот перевод этого документа.

Румыния

Национальное министерство культуры

Главная дирекция театров

№2614

29 мая 1942 года

Квитанция-расписка

Мы члены инвентарной комиссии, состоящей из П. Комарнеску, Траяня Корнеску, Виктора Бумбешти и Виктора Федорова с одной стороны удостоверяем, что изучили и оценили театральное имущество захваченное в Одессе и передали его сотрудникам

Оперного театра в Бухаресте в составе: Г. Манеа, Д. Заводнику и В. Петеряну с другой стороны.

Общее число захваченных предметов – 111, их стоимость составляет 174 914 лей. Их полный список прилагается к этой расписке и является частью данного документа.

Подписи сторон.

Это был самый обычный грабеж военного времени, и Виктор Федоров был его участником. Если мы скажем «невольным участником», это дела не изменит. И молодые румынские солдаты, участвовавшие в массовых расстрелах мирного населения Одессы, тоже были невольными участниками этих преступлений. Им приказали. А так никто из них, вчерашних виноделов и хлеборобов, почтальонов и механиков, поваров и докторов, никаких конкретных претензий к стоявшим на краю расстрельного рва женщинам и детям не имел. Так сложились обстоятельства. Время было такое.

Лиляна Шульц – «приемная дочь» Александра Митрофановича – вспоминала, что Виктор жаловался отцу на то, что на его долю выпало неприятное задание – забрать из Одесской оперы все ценное, что могло быть использовано в румынском театре или театрах. И он это задание выполнил.

Из составленной в бухарестской опере биографической справки Виктора следует, что он нес службу в Одессе в 1941-1942 годы. Но он возвращался в Одессу и в 1943-м. В приходской книге Успенской церкви С. Лущик нашел на странице с записью о рождении Виктора румынский штамп о выдаче ее копии. На штампе дата – 29 ноября 1943 года. Аналогичный штамп с датой 15 декабря 1943 года обнаружился в приходской книге Константино-Еленинской церкви против записи о его бракосочетании.

Эти штампы – не только документальное подтверждение его второго приезда в Одессу. Очевидно и другое – Виктору нужны были копии документов, в том числе документа о бракосочетании с Надеждой Ковалевской, чтобы этот брак с ней расторгнуть. В это время у него уже был тайный роман с Еленой Дину, но чтобы жениться на ней, ему нужно было оформить развод с первой женой.

Румыны вывозили имущество Одесского оперного театра в несколько заходов. Вышеприведенная справка указывает на то, что вывоз начался летом 1942 года и продолжался до 1944. В Бухарест отправили, помимо декораций, дорогостоящие костюмы, ткани, богатейшую нотную библиотеку, состоявшую из 100 опер и 16 балетов. Был увезен бархатный занавес с аппликациями, исполненными в 1925 году по эскизам выдающегося театрального художника Александра Головина. Его оценивали в 25 000 рублей золотом.

Советские войска, освободившие Одессу в апреле 1944 года, еще успели перехватить застрявший в районе станции Раздельная эшелон с частью награбленного имущества. Но это никак не сказалось на судьбах грабителей.

Пытаясь спасти Виктора, его жена доказывала, что он лишь выполнял приказ, а главное – все, увезенное из Одессы в Бухарест, было возвращено, да еще с «походом». На этот случай была получена справка, в которой упоминается расписка о передаче имущества в мае 1942 года и говорится, что часть вывезенного из Одессы имущества пострадала при перевозке, но потери были возмещены со складов Бухарестской оперы. На этой справке дата – 5 ноября 1944 года. То есть она была выписана еще до ареста Виктора. Странно? Нет.

Дело в том, что 23 августа 1944 года, то есть в тот же день, когда кондуктор Йон Антонеску был отстранен от власти, новое руководство страны согласилось выполнить выдвинутые СССР требования, необходимые для заключения договора о перемирии. Румыния взяла тогда на себя обязательство «возместить Советскому Союзу ущерб, нанесенный военными действиями и оккупацией части советской территории».

После того как советские войска вошли в Бухарест, это случилось 31 августа 1944 года, масса румынских военнослужащих и чиновников озаботилась подготовкой документов, которые могли облегчить их участь в случае, если победители выдвинут к ним какие-либо претензии. К этому готовились и в театре. И к этой, видимо, поре относится одно из последних, если не последнее, полотно Виктора «Перевозчик», которое упоминалось выше. Работа эта была написана для себя – трудно представить, что в такое время на нее мог быть заказчик.

В одесской частной коллекции сохранились два эскиза декораций к опере Фауст, под которыми стоит подпись Виктора Федорова. Они датированы 1943 годом. Мы не знаем, были ли сделаны эти эскизы в Одессе или привезены из Румынии, неизвестно, были ли они использованы в одесской постановке Фауста. Но мы должны понимать, что Виктора Федорова отправили в родной город не для выполнения художественных заказов.

От судьбы, говорят, не уйдешь, Виктор смог избежать смертельно опасной службы на фронте, но не избежал ответственности за ту службу, которая в годы войны могла показаться синекурой.

Лагерь

Катаев знал, что жизнь его героя окончилась в больничном бараке сибирского концлагеря, знал, что тот работал в лагерном театре, знал о брошенных им сыновьях, о возникшей под конец набожности.

«Вокруг него уже пахло лагерной дезинфекцией и сосновой смолой госпиталя, где он лежал на нарах один-одинешенек. В окнах, вделанных высоко под потолком и забранных решеткой, виднелось небо северной России, которая представлялась ему совсем чужой заповедной страной, виднелась хвойная зелень тайги.

На соломенном матраце возле него лежала коробочка детских акварельных красок, мензурка с бурой водой, кисточки и лист бумаги, где он начал и никак не мог закончить по-детски старательно вылизанный морской пейзаж с дачей на обрыве, маяком и большим облаком, как-то по-итальянски отраженным в воде. Дача была не вполне дописана, и сделать передний план у него не хватало сил. Он обливался потом.

<...>

Начальство относилось к нему неплохо. Будучи много лет театральным художником в эмиграции, он научился хорошо писать декорации и теперь оформлял спектакли лагерной самодеятельности.

Он часто вспоминал о боге, в которого опять верил, горячо, как в детстве. У него на груди, под бязевой рубахой на тесемочке, висел образок его ангела-хранителя. Он молился на этот овальный эмалевый образок и со слезами на потухших глазах целовал его. Он был уверен, что это бог карает его за грехи, и со смирением принимал божий гнев.

Он думал о своих брошенных мальчиках, которые уже теперь должны были быть взрослыми мужчинами, если они еще существуют. Где они теперь? Простят ли они его когда-нибудь? Знают ли они о его существовании?»¹⁷²

Как Катаев узнал об этом, да еще в таких подробностях? Или просто сочинил их? Московский писатель и журналист Сергей Александрович Бондарин родился в Одессе. В юности он писал стихи, печатался в одесской периодике, был активным членом «Коллектива поэтов», где встречался с Катаевым. В 1930 году Бондарин перебрался в Москву, начав зарабатывать на хлеб литературным трудом. С первых дней Отечественной войны он служил при Политуправлении Черноморского флота. В качестве военкора принимал участие в

¹⁷² В. Катаев. Избранное. С. 65.

обороне Одессы и Севастополя, высаживался с морскими десантами в Крыму, участвовал в десанте на Малую землю под Новороссийском. В феврале 1944 года Бондарина вызвали в Москву, где он был арестован, обвинен в антисоветской агитации и приговорен к восьми годам исправительно-трудовых лагерей и двум ссылки. Лагерная судьба занесла его в Мариинск – административный центр Сиблага, с 30-х годов – главного поставщика рабской силы для Главлеса. В систему Сиблага входило полсотни лагерей, через которые прошло порядка двух миллионов заключенных. В целях повышения их культурного уровня в Мариинске был создан театр. Его труппа состояла из профессиональных работников культуры. Были в нем актеры из московских и ленинградских театров, балерины из Вены и Варшавы. Бондарин вспоминал:

«По субботам, с баульчиками, мешками и подводой, на которую грузились громоздкие декорации, “артисты” пропускались через вахту из зоны, и шли километров десять <...> в Мариинск, на дебют. Шли в сопровождении автоматчиков и собак <...> А навстречу от домиков городка, уже показавшегося на путях, бежали дети, с утра ожидавшие небывалого зрелища, и кричали: – Артистов ведут!»¹⁷³

Бондарин прибил к этому театру в качестве артиста. В этом же театре оказался Виктор Федоров, став его главным художником. Но встреча их случилась не в лагере, а еще на Пресненской пересылке, о чем Бондарин сообщил жене в письме от 20 сентября 1946 года:

«Встретил здесь несколько человек знакомых по тюрьмам и пересылкам, среди них художник Федоров, сын писателя Федорова, друг детства В.П. Катаева»¹⁷⁴.

И позже, в письме от 5 мая 1948 года о своей дружбе с Федоровым:

«...мы вместе от самой Пресни. Еще там, на переполненных юрцах, осыпаемых клопами, мы лакомились и кормились из твоих ящичков – и я никогда не забуду его несчастного, смущенно-растерянного лица, неуверенных, медленных движений усталого, голодного и облаканного человека, деликатной, доброй улыбки...»¹⁷⁵

Бондарин вернулся в Москву в 1954 году, а в литературу – в 1955-м с новой книгой «Мы идем в десант». Она была издана Добровольным обществом содействия армии, авиации и флоту. Была такая организация, занимавшаяся воспитанием советской молодежи.

Если не от Бондарина, коллеги и земляка, то от кого еще мог узнать Катаев о Викторе Федорове? Да мало ли от кого, но мы знаем только об одном возможном канале.

В середине 60-х Сергей Бондарин появился на Даче Ковалевского в надежде разыскать бывших соседей Федоровых. Через них он надеялся как-то передать в Бухарест фотокарточку сына Виктора, которую он хранил с лагерных времен. Такие нашлись, и через артистов, отправлявшихся в Румынию на гастроли, карточка вернулась ее отправительнице.

Но Елена Дину узнала о гибели мужа значительно раньше. В ответ на запрос, направленный в румынский Красный крест 15 октября 1956 года, она получила уведомление о том, что ее муж скончался 7 февраля 1948 года от остановки сердца.

Александр Митрофанович ненадолго пережил сына. 20 апреля 1949 года он вернулся с вечерней прогулки и упал на руки встретившей его Лиляне. У него случился инсульт. Через неделю его похоронили.

Чилингинов в своих воспоминаниях рассказывает, что его друга подкосили два известия. Первым был отказ печатать в Москве его воспоминания о литераторах прошлого –

¹⁷³ С. Бондарин. Капкаринские записки. Тетрадь 1-я. 1952 г. Публ. Анны Мисюк // Дом Князя Гагарина: Сборник статей и публикаций Одесского гос. лит. музея. Вып. 1. Одесса, 1997. С. 200-201.

¹⁷⁴ «Ты ждешь меня, и в этом моя сила». Публ. С. Калмыкова // Вечерняя Одесса. 1990. 12 июля. С. 3.

¹⁷⁵ Там же.

«Неугасимые маяки». За эти воспоминания он взялся по рекомендации советских писателей и журналистов, которые бывали у него во время советской оккупации Болгарии в 1945-м году и, судя по всему, наобещали ему золотые горы. Чилингиров называет в их числе украинского поэта Павло Тычину. Каназирска – известного специалиста по Лермонтову Исаю Заславского. Забрав рукописи Федорова, последний улетел с ними в Москву. Публикация всего, что было написано за четверть века в иммиграции, обещала и возвращение в родную литературу, и гонорары, с помощью которых он мог бы расплатиться со своими благодетельницами. Казалось, удача, которую он ждал всю свою иммигрантскую жизнь, наконец-то пришла к нему. Он ошибся – рукописи, равно как и увезший их Заславский, исчезли. Федоров теперь чувствовал себя не просто забытым родной литературой, он был отвергнут ей.

Вторым ударом стало известие об аресте сына, которое он получил от Елены Дину из Бухареста. Эти события отразились в заключительной главе «Плеяд». Последнюю правку он вносил в него за две недели до смерти, и в романе его сын был жив, здоров и готовился к освобождению, чтобы еще послужить своей родине.

Финал этого романа представляет собой нездоровую смесь искаженных фактов и грез о будущем, иными словами – художественный вымысел. Из его текста следует, что Виссонов отправил письмо Сталину с просьбой об освобождении сына. Не исключено, что такое же письмо и тому же адресату отправил и Александр Митрофанович.

О чем Виссонов писал вождю, чье отчество так созвучно его фамилии, что в нем можно заподозрить готовность блудного сына броситься к ногам отца? Наверное о том, что он, конечно, виноват, но обстоятельства его бегства простительны, а преданность родине – безмерна. И все это с типичным для Александра Митрофановича пафосом.

Виссонов ведет бесконечный спор с самим собой, взвешивает свои и чужие доводы «за» и «против» возвращения на родину. Бесконечные взаимоопровергающие аргументы не оставляют малейшей надежды на принятие какого бы то ни было решения, а только порождают все более и более невыполнимые условия. В конечном итоге Виссонов соглашается вернуться, но только в том случае, если вернутся все бежавшие из России деятели культуры. Если все, тогда и он.

Самого Александра Митрофановича, скорее всего, удержало от решительного шага отсутствие интереса к нему московских издателей.

Он был нищ, он был стар, ему больше нечего было ждать, никто не ждал его. Но кто мог помешать ему продолжать многолетний, как наркотическая зависимость, разговор о собственной судьбе? И он продолжает его в письме, якобы написанном ему его женой Лидией (в романе ее отчество Сергеевна) из Одессы еще в 1937 году:

«Мне думается и хочется надеяться, что его возвращение (*речь идет о возвращении А.Н. Куприна – В.Я.*) послужит примером и для других писателей поступать так же, как и он. Ведь они бежали, не считаясь с тем, что их народу, их родному государству нужны были, особенно в то время, культурные силы. Бежали постыдно от борьбы, в которой должен был возродиться и укрепнуть их дух для новой жизни, и предпочли жалкое, ничтожное и такое унижительное существование среди чужих им людей, законов и нравов.

Эти близорукие люди не поняли, не почувствовали, не угадали, что кровь, льющаяся во время революции, – спасительная кровь, вызванная самоотверженным стремлением к свободе...»¹⁷⁶

Спасительная кровь... Это ли не еще один случай гибели и сдачи российского интеллигента? Деградация иммиграции.

¹⁷⁶ А.М. Федоров. Плеяды. С. 124-125.

И в том же духе, безоговорочного – с повинной головой – принятия советской власти и оптимистического взгляда в будущее, сочинено письмо, которое Виссонов получает от сидящего в лагере сына Виктора:

«Родной мой, я жив, здоров, на родине, и это главное. <...>

Помнишь, в 42-м году, в год Сталинграда, когда ты гостил у меня в Бухаресте, я сказал тебе на прощанье, чтобы ты не беспокоился обо мне: я знаю, что теперь должен делать. Я решил тогда во что бы то ни стало вернуться в Россию и начать новую жизнь, посвятив родине все мои творческие силы, которые я почувствовал в себе, как никогда ранее. Мой искренний порыв оказался неосуществим. Но всякое достойное сильное стремление так или иначе должно быть осуществлено. Высший промысел иногда и по терниям приводит к истине, красоте и природе своих верных, а природа – нерукотворный образ искусства. Что не далось волей, далось неволей. Я не считаю себя перед родиной виновным ни в чем: я никого не предавал, никого не грабил и не убивал. Я виноват не в том, за что меня осудили, а в том, за что я сам себя осудил, не в том, что я совершал преступление или проступок против моей родины, а в том, что я не делал для нее в эти четверть века вдаль от нее того, что мне надо было делать. Ныне надеюсь, что родина, которая покарала меня, поможет мне загладить свою вину перед нею за осознанный мной самим грех перед самим собой.

Покуда я отбываю свое наказание на родине, а где именно, по прилагаемому адресу ты разберешь на новой карте СССР, работаю не как пленник, но и не вполне свободный человек, по своей специальности художника-декоратора. Долго ли протянется мое зависимое положение, не знаю. Так или иначе, я не только не ропщу на то, что случилось, но вижу в этом высокий промысел и надеюсь, что рано или поздно мы встретимся свободные на свободной родине, и не только мы с тобою, но и с детьми, если мать их простит меня. Ожидающий тебя сын.

Р.С. Люди здесь хорошие, новые для меня, и есть даже расположение ко мне как к человеку и художнику. Природа величественна, а это же много, так как природа всегда была моим сотрудником и другом»¹⁷⁷.

Этот текст об устройстве сына в лагере, его искренняя готовность посвятить родине все свои творческие силы, восторги по поводу окружающих его людей и природы является по сути развитием мысли, которую в сентябре 1946 года Александр Митрофанович высказал в письме Елене Дину, пытаясь утешить ее и вселить надежду на возвращение мужа. Это письмо хочется привести полностью, поскольку оно дает представление о том, чем жил и о чем думал в это время писатель. Судя по тону, автор кажется знал, что оно будет внимательно прочитано не одним человеком:

«Дорогая Лелюара,

Ваше письмо, прочитанное мне любезным Христу (*софийский знакомый А.М. Федорова, переводивший ему письма невестки с румынского языка – В.Я.*), привело меня в такое светлое настроение, что когда я помчался по улице, у меня словно крылья выросли на ногах. Случайно я встретил на углу знакомого, которого не видел ровно 25 лет, он не только узнал меня и радостно замахал руками издали, но и заявил, что я за эти четверть века не изменился, только побелел немного, что при моих блестящих глазах и молодой фигуре и движениях даже идет мне. Я объяснил ему причину моего возрождения и мы обнялись и [нрзб] выпили по стакану вина за освобождение Вити и здоровье всей вашей семьи и за ее украшение – маленького Виктороша. Благодарю Вас за два милых его портрета, которые я нежно расцеловал.

Конечно, свобода Вити покуда относительная, но будем надеяться, что со временем она будет полной и мы там, или тут, увидимся и это будет день великого счастья. А пока надо

¹⁷⁷ Там же. С. 145-146.

благодарить Бога, что он занят своим делом, что живет среди хороших людей, которые чтут его и как талант и как человека, что он не сидит на месте, а разъезжает по новому для него, сказочно ожившему краю и полон новыми впечатлениями и восторгом от величественной природы, которую я знаю и люблю.

Очень вы меня утешили сообщением, свидетельствующим о Вашей тонкой наблюдательности, что почерк последнего Витиного письма тверд и четок, а тон спокоен: значит он перестал пить и поздоровел [нрзб]. Болезнь печени – результат неумеренного потребления вина [нрзб]). Это окончательно вылечивается при нормальном образе жизни [нрзб]. Как его почки? Ведь у него раньше проявлялись камни. Болезнь еще более неприятная и упорная, при которой надо соблюдать строгую диету. Не пишет ли он Вам, как питается. Край, в котором он живет, славится обилием дичи и всяких даров земных, вне всякого сомнения богатейший край. Желал бы я также знать подробно о его новых работах. Есть ли у него возможность работать не только для театра, но и для души, и может ли пользоваться этими работами как своей собственностью, продавать их и иметь заказы хотя бы на портреты? Интересно, куда делись его вещи, особенно его чудесные миниатюры, которые он показывал мне при последней нашей встрече? Большой удар для меня уничтожение В.В. (*Верой Владимировной Барло – В.Я.*) моего большого романа, который восстановить как следует чрезвычайно трудно. Да и взятые другие мои рукописи тоже ужасно жалко, но я все же их надеюсь отвоевать, тем более, что в них нет ничего одиозного.

На болтовню В.В. не обращайтесь внимания. Она особа, безусловно, была не вполне нормальная и раньше, хитрая, злобная и недалекая, и мне смешно было читать строки в ее письме о том, как она заботилась о развитии Вити.

Передайте Вите вместе с моими благословениями и любовью просьбу беречь себя и вести умненько. Неужели ему не разрешают писать мне и получать от меня? Посылку мою (1/2 кило папирос), посланную заказным пакетом по почте, вернули по почте обратно, также как и мое письмо Наде и ответ на ее письмо, посланное из американской зоны накануне ее ожидаемого отъезда в Америку.

Храни вас Господь от всего темного и злого, от всех бед и напастей. От всего сердца обнимаю всех и маленького целую всего от головы до пяток.

Ваш А.М. Федоров.

Я чувствую себя неплохо. Усиленно работаю над последним романом-трилогией и если, иньша Алла! скоро закончить, буду отдыхать и приводить в порядок мои рукописи для напечатания, и старые мои книги для полного собрания моих сочинений.

У меня уже советский паспорт.

18/IX.46»¹⁷⁸.

К этому же периоду относится еще одно письмо, полученное Александром Митрофановичем от Нади Ковалевской. Вот как она отреагировала на сообщение Сашеньки, как она называла Александра Митрофановича, об аресте Виктора:

«Какой-то роковой человек: сам страдает и с ним страдают все его близкие. И правду, Вы, Сашенька, написали, что даже талант его не дал ему счастья. Каждый день молю Господа, чтобы он дал ему силы перенести то, что положено и чтобы простил ему вольные и невольные прегрешения, и отпустил его к семье его. Может быть хоть маленький сынок его даст ему радость и утешение. Насколько после нашей последней встречи я его не любила, не жалела, настолько сейчас я ему от всего сердца простила и всем сердцем пожалела. Бог даст, его испытания кончатся и он скоро приедет»¹⁷⁹.

¹⁷⁸ РАЛ.

¹⁷⁹ РАЛ.

Нечаянно, но очень верно, Надя Ковалевская назвала своего бывшего мужа роковым человеком. Его, конечно, можно было обвинить в бесхарактерности, но не бесхарактерность была главным двигателем сюжета его жизни, а именно рок. Дав сбой в 1920 году в Одессе, он настиг его через четверть века в Бухаресте.

В письмах Елене Дину Александр Митрофанович неоднократно говорит о своих новых послевоенных связях и высказывает надежду на то, что готовящаяся публикация его последней книги в Москве, а затем и издание его полного собрания сочинений дадут ему возможность ходатайствовать за сына уже с помощью своих новых знакомых. И это снова возвращает нас к его связям с советскими военными.

Мне кажется позволительным высказать предположение, что именно эта «дружба» стала причиной ареста Виктора или по крайней мере ускорила его. Дело в том, что в 1944 году вместе с Южной группой войск под командованием маршала Толбухина в Румынию и Болгарию вошел СМЕРШ. Вадим Бирстейн сообщает в своем историческом исследовании названной организации¹⁸⁰, что сразу после окончания войны в Болгарии и Румынии работали более 250 советских контрразведчиков. В их задачу входил поиск пособников нацистов, в первую очередь из числа белоэмигрантов. Эта задача рано или поздно могла привести их и к Виктору, но активные связи Александра Митрофановича с офицерами советских оккупационных войск облегчили их поиски. Федоров-старший был уверен, что советские гости проявляют к нему исключительно литературный интерес, но в действительности, будучи председателем Союза русских писателей и журналистов в Болгарии, где до войны выходило порядка 80 русскоязычных газет, он мог служить для них источником бесценной информации. В разговорах со своими гостями, можно не сомневаться, Александр Митрофанович часто рассказывал о своем мальчике, мог упоминать и его возвращения – военного времени – в Одессу. Сын Виктора – Виктор-Анатоль – знает со слов матери, что его отца арестовали именно сотрудники СМЕРШа. Но это лишь предположение, к которому следует добавить еще одну семейную версию событий конца 1945 года: Виктор стал жертвой доноса брошенной им Веры Барло. Подтверждения этому у нас нет.

Зная страшную правду о положении сына, не пытался ли Александр Митрофанович отгородиться от нее своим сочинением? Обмануть себя? Может быть, но скорее всего, своим восторженным письмом-подделкой, якобы полученным Виссоновым из сибирского лагеря, он хотел продемонстрировать лояльность по отношению к тем, кто мог помочь в освобождении его мальчика.

До конца своих дней Елена Дину хранила лагерные письма мужа¹⁸¹. Одно письмо и две открытки дают исчерпывающее представление об отнюдь не патриотическом настрое узника. Можно только поражаться тому, как эти типовые советские открытки смогли миновать лагерную и почтовую цензуру и добраться до Бухареста.

Первое из сохранившихся писем, на одном листе писчей бумаги, датировано 14 марта 1946 года.

«Любовь моя, Лелиора.

Это мое четвертое письмо к тебе, но очевидно безрезультатное, т.к. все никакого ответа нет и я так же не знаю, что с тобою, жива ли здорова, есть ли у нас ребенок, что с моими близкими? Сердце мое полно отчаяния и тоски неопишуемой. Я до сих пор не могу понять, сон ли все случившееся, бред ли больного, из которого я проснусь и выйду. Если бы не это ощущение, то я наверное сошел бы с ума, но Бог милостив и я чувствую, что он меня

¹⁸⁰ Vadim J. Birstein. SMERSH, Stalin's Secret Weapon. Biteback Publishing, London. 2013.

¹⁸¹ Семейный архив Федоровых. Женева.

поддерживает и слышит мои безустанные молитвы. А то мне кажется, что это мать моя у Его престола молит о моем спасении и спасет, как и в далекой моей юности.

Я стараюсь, как можно занимать свою голову работой. Как я уже писал, я работаю по специальности, но в маленьком провинциальном городе. Отношение ко мне очень хорошее, что поддерживает морально, но работать мне трудно, т.к. я очень медленно отхожу из ужасного состояния истощения, в котором находился и еще нахожусь. Потеряно было 30 кг, а наверстано только 5. Но и это хорошо имея в виду отсутствие жиров. Конечно, мне было бы необходимо помочь, но что же если мои письма не доходят. В Венгрию писали и получили ответ и посылку, а к нам не доходят. В чем дело не знаю? Еще раз, что ли, перечислить необходимое, но уже прямо надоело и как-то совестно. Чтобы не обременять себя советую тебе продать мои вещи, носильные или другие, или, быть может, дирекция сделает жест и поможет тебе в этом учтя мою 20-летнюю службу. Если бы ты знала, как трудно мне писать, как трудно сосредотачивать свои мысли, все это дистрофия в сильной степени. Если бы ты меня встретила, то наверное не узнала, да и сам бы не захотел попасть тебе на глаза. Из здорового еще хорошо выглядевшего человека я стал стариком, отекившим и беззубым. Тянешь влачишь свои дни без надежд, без сил... Так рухнули надежды на помилование, на амнистию. Я не знаю хорошо ли я делаю что пишу тебе и возрождаю в тебе надежду, лучше бы и ты и все считали меня мертвым. Эта погребенность заживо страшней всего. Не знаю что у вас? Неужели все повернули мне спину, сочтя меня за действительного преступника. Как трагично, что человек всю жизнь стремившийся быть подальше от политики попадает в такое положение как я.

Моя глупая голова и ослабленный мозг ничего больше не понимают и считаю что мое несчастье заслужено перед Богом за мое недостойное поведение в личной жизни, женитьбы, дети и проч. все что ты знаешь о моих промахах и ошибках... [нрзб] еще раз перечислить тебе что мне нужно и чего у меня нет, а нету у меня ничего абсолютно, все пораспродано или украдено.

И так в смысле питательного – жира, сухая колбаса, сладкое, печенье. В смысле теплого: ...»

Второй лист, с перечислением необходимого, не сохранился.

Очередное послание (это – открытка) из Мариинска в Бухарест датировано 27 декабря 1946 года.

«Светик мой Лелиора! Я задыхаюсь без твоих писем и писать тебе мне так же трудно, не имея отклика. Опять одолевает меня чувство загробного мира и я больше не нахожу слов. Безусловно все твои да и мои надежды оказались тщетными, а без них так тяжело продолжать жить. Все же продолжаю надеяться надеяться и работать по прежнему, хотя и в работе все больше и больше трудностей разного рода, в числе них зима с ее холодом. Всеми способами поддерживаю свое пошатнувшееся здоровье и не опускаю рук. Больше всего меня беспокоит то, что ничего не знаю о тебе и боюсь несчастий которые могли обрушиться на тебя, боюсь быть тому невольной причиной. Жутко думать о себе как о неудачнике, хоть и не один я. Найди способ сообщаться через приезжих. Почему то больше не вижу тебя во сне, потерял и это счастье. Мучительно и безнадежно люблю тебя и отсчитываю каждый миг близящийся меня к старости. Горько. Целую тебя <...> твой всем сердцем я».

На лицевой стороне открытки в графе для адреса отправителя с рекомендацией «Пишите правильные, точные и разборчивые адреса», вместо адреса еще четыре рукописные строчки:

«С какой болью смотрю на ваши карточки! Какой вопросительный взгляд у Виктораша. Удивление, ожидание, осуждение. Только пиши, добивайся, не оставляй. Привет и целуй всех близких».

В открытке от 12 октября 1947 года, с красной первомайской символикой на лицевой стороне, последней, полученной Еленой из лагеря, Виктор пишет:

«Родная моя Лелушь,

Все по прежнему нет писем от тебя и я живу в тоске и тревоге. Пишу я на ветер и не знаю дойдут ли мои строки. Живу надеждой и детской верой в то что в 48 году мы будем вместе. У меня все по старому. Работаю очень много и даже несу физический труд. Сердце пока выдерживает все. В будущее смотрю со страхом но и с верой. Молюсь за вас ежедневно и все мое будущее это вы и искусство. Сохрани и ты эту веру и еще на год думаю не больше, соберись с терпением, любовью и верностью. Наша чистота да будет залогом будущего счастья. Целую тебя с безумной любовью и крещу вас обоих мои мечты».

По истечении лагерного срока Сергей Бондарин был отправлен в качестве ссыльнопоселенца в село Капкарино Красноярского края, где работал сторожем в местном продмаге. В свободное время он стал записывать свои лагерные воспоминания. Рукопись «Капкаринских записок» хранится в Одесском литературном музее. Есть в ней и о Викторе Федорове.

«Витя умер среди ночи в бараке лагерного стационара, куда я довел его, – у меня на руках. Теперь я понимаю, что умер он от инфаркта <...> Как я молчаливо возмущался, когда лагерная врачиха, подняв ему веки и заглянув в глаза, отошла и пробормотала про себя: “Этот уже не наш”. Она понимала то, чего не понимал я, а меня ужасала эта безучастность. На ноги умирающему вспрыгнула кошка; Витя, бормоча, махнул рукой, отгоняя кошку, – и это было его последнее движение. Мне он успел передать маленькую фотокарточку сына, родившегося уже без него: полный, черноглазый, каким был сам Витя, ребенок в рубашонке смотрит на нас долгим озадаченным взглядом.

Витю любила одна дама из наших актрис, любила молчаливо, нетребовательно и преданно. Она готова была отдать ему все на свете, но могла только одно: иногда подсунуть ему, почти всегда голодному, свою пайку <...> Дама эта была из беднейших, из неимуших, посылок не получала, ходила в грубых арестантских чунях и потому оживлялась только тогда, когда появлялась на сцене или за кулисами в театральном платье. В свободное время она часами незаметно стояла в углу сарая, где работал Витя. Но вот его на короткое время разрешили выставить в гробу в том же сарае. Она подошла к гробу с каким-то хилым, где-то добытым цветочком. Долго смотрела на покойного, сказала: – Боже какой красивый! Какой добрый! – и склонилась. И это был их единственный поцелуй»¹⁸².

Нью-Йорк, 2018 год

¹⁸² С. Бондарин. Капкаринские записки. Тетрадь 1-я. 1952 г. С. 197-198.